



Т. В. Макаровская

ЕДНЫЙ САДНИК“

ИТОГИ
и ПРОБЛЕМЫ
ИЗУЧЕНИЯ

Г. В. Макаровская

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК». ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

Под редакцией проф. Е. И. Покусаева

Издательство Саратовского университета
1 9 7 8

Книга представляет собой обзор критической литературы о поэме. Истолкование гуманизма Пушкина у Белинского соотносится в работе с позднейшим пониманием этой проблемы в статье В. Брюсова о поэме и в концепциях ряда советских исследователей творчества Пушкина. История изучения «Медного Всадника» связана в книге также с рядом важных теоретических вопросов, в частности с вопросом о философских истоках пушкинского историзма, а также с проблемой многозначности художественных обобщений в «Медном Всаднике».

Книга обращена к студентам-филологам, преподавателям вузов, учителям-словесникам и к более широкой читательской аудитории, интересующейся актуальными проблемами современного осмысления наследия Пушкина, художника и мыслителя.

Предисловие

В обзорах критической литературы о «Медном Всаднике» не раз отмечалась необычайная разноречивость суждений о поэме. С годами число таких оценок возрастало и порою казалось, что критика в осмыслении одного из самых значительных произведений Пушкина шла не к выработке более или менее осязаемого единства мнений хотя бы в общем определении его идеи, но приходила к результату прямо противоположному — к отрицанию самой возможности постижения истинного замысла поэта. Поэма, признанная образцом классической ясности и совершенства, породила множество самых противоречивых толкований и гипотез, иногда объявлялась произведением загадочным.

Литературная судьба «Медного Всадника» во многом примечательна.

Посмертно опубликованную поэму читатели приняли с единымдушным благоговением к памяти безвременно ушедшего поэта. В новом произведении Пушкина не увидели никакого непривычного новаторства, в общем мнении поэма была присоединена к ряду известных и всеми признанных пушкинских творений. «Медный Всадник» явился для публики замечательной «Петриадой», и восприняли ее поначалу соответственно установившейся традиции. Нечто небывалое первым заметил в «Медном Всаднике» Белинский. Несколько строк о поэме в его статьях о Пушкине были проникнуты предчувствием, что «колоссальное» это произведение еще не раз поразит читателей глубиной проникновения в вечные вопросы истории и что слово об этой поэме — впереди.

Настоящий взрыв споров о «Медном Всаднике» произошел на рубеже двух веков. Эпоха революционных перемен XX сто-

летия стала началом новой жизни этого произведения. «Медный Всадник» воспринимался теперь совсем не как размышление о прошлом, об эпохе Петра, — в поэме всех поражало провидение грядущего. В стремлении разгадать смысл пушкинского завещания потомкам выразилось свойственное революционной эпохе, остро современное ощущение классики. В толковании поэмы в те годы больше, чем когда-либо, допускалось произвольных отклонений от конкретного содержания ее сюжета. Верно в этом новом осознании «Медного Всадника» было, несомненно, одно: критика успела заметить, что имеет дело с изменяющейся эстетической реальностью — с поэмой, приобретшей новый смысл.

Предвидение Белинского сбывалось. Точный и завершенный пушкинский рисунок под воздействием времени вдруг утратил свои канонические границы — в нем обнаружилась новая идейная перспектива и новые содержательные ракурсы. Происходило своеобразное приращение идейно-философского смысла поэмы. В ее толкование в те годы действительно приносилось много чуждого, но вопреки таким привнесениям совершался и более значительный и плодотворный процесс своеобразного идейно-эстетического ее обновления. Объективные истины, заключенные в пушкинском раздумье об истории и человеке, соприкасаясь со значительными событиями времени, как бы взаимодействовали с ними, не оставались мертвым капиталом и продолжали свое собственное развитие. Конкретный состав поэмы при этом мог и не подвергаться модернизаторским искажениям — само его значение неизменно углублялось и расширялось под воздействием истории.

Каждая эпоха «акцентировала в творчестве Пушкина то, что было ей более созвучно, выделяла те художественные и эстетические проблемы, которые были для литературного движения этой эпохи наиболее актуальными»¹, — справедливо замечает автор последнего обзора литературы о «Медном Всаднике». Однако историю изучения поэмы составляют не только сменявшиеся общественные вопросы, к пушкинскому созданию обращенные. Эта история — не только рассказ о продвижении исследовательской и критической мысли к истине, заключенной в первоисточнике. Дело в том, что исторически развивалось и объективное значение самого этого источника. Путь к

¹ Сандомирская В. Б. Пушкин в истории русской критики и литературоведения. Введение. — В кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л., 1966, с. 11.

истинному содержанию поэмы не представлял собою возвращения в прошлое, к конкретным обстоятельствам ее возникновения и к породившей поэму идейной почве. Как эстетическое явление поэма обычно сравнивалась с хранимым веками сокровищем. Однако ее нельзя представлять как однажды созданную и равную самой себе данность.

Недостаток историзма в подходе критики к пушкинской поэме чаще всего сказывался в стремлении найти однозначное определение ее содержания.

Философские обобщения в «Медном Всаднике» выражены языком, в высшей степени свойственным природе художественности. История бедного чиновника у Пушкина предельно конкретна и предложена им доверию читателя именно в этом ее качестве. Между тем мера конкретизации здесь одновременно является и мерой самой широкой понятийной абстракции. Философский смысл поэмы столь же очевиден, сколь и трудно уловим.

Простота и ясность пушкинского стиля нередко воспринимались критикой как безусловная доступность его творений, однажды и до конца читателю открытых. Проблема перевода языка искусства на язык логических понятий для многих не существовала, вернее, существовала, но не осознавалась, и попытки единовременного «разъяснения» идеи поэмы продолжались. Критика имела дело с произведением по самой природе своей многозначным. Однако объективные предпосылки и границы такой многозначности не сразу обозначились. Произведение Пушкина обладало как бы заложенной в самой структуре его возможностью широкого соприкосновения с опытом истории, обладало возможностью самовоспроизведения в новом качестве. Но именно эта многозначность поэмы нередко и оборачивалась крайней разноречивостью критических суждений о ней. Пушкина то объявляли примирившимся с существующим положением вещей мудрецом, превознесшим принцип государственности, то видели в нем пророка грядущих мятежей и неизбежной гибели самодержавия; его то считали певцом Петра, признавшим безусловное превосходство национального над личным, то подходили к нему как к гуманисту, усомнившемуся в величии Петра перед фактом гибели невинного человека. При этом повторялась одна и та же ситуация: мнения выдвигались все новые и новые, а поэма, пройдя через новую грядущую событий, неизменно исчезла с только что уготованного для нее критикой места и становилась подобием исчезающей в вышине Ветилуи. Многозначность образов «Медного

Всадника» во всей исторической перспективе их развития следовало выверить возможно более точным объективным критерием, но и этот критерий давала история — и не в «готовом» виде.

Белинский писал, что критика любой исторической эпохи, как бы верно ни поняла она произведения Пушкина, «всегда оставит следующей за ней эпохе сказать что-нибудь новое и более верное, и ни одна и никогда не выскажет всего»². Разнообразные суждения о поэме действительно выстраиваются бесконечной чередой. Однако история изучения поэмы не представляет собой пестрого перечня хаотически разнообразных мнений — она имеет внутреннюю поступательную связь и потому, собственно, является историей. В ней вырисовываются объективные грани самого предмета. Как будто уводя все дальше и дальше от первоначального смысла произведения, который желал выразить «сам автор», эстетическое бытие поэмы снова возвращает читателя и исследователя к проблеме авторской воли. Историческое развитие образов поэмы не отменяет, а скорее подтверждает их первоначальный смысл, объективные границы которого словно бы проецируются из прошлого в настоящее. Остается верным вывод, что произведение в самом себе содержит нормы своего истолкования³. Эта закономерность в критической литературе о «Медном Всаднике» достаточно полно выражена. В оценке поэмы определились проверенные временем критерии, «нормы истолкования» сами прошли через историю.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. V. М., 1954, с. 555.

³ См. об этом: Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы. — «Учен. зап. Сарат. ун-та», вып. 3, 1923, с. 59.

Поэт действительности

Самый глубокий след в литературе о «Медном Всаднике» оставлен Белинским. В кратком определении философской идеи поэмы он стремился указать на всеобъемлющую полноту и диалектичность пушкинского понимания противоречий истории, дать представление об универсальности самого решения проблемы истории и личности у Пушкина. И, может быть, именно поэтому мимо сказанного им о поэме не прошел никто из последующих критиков. Вместе с тем, соглашаясь с Белинским или предпринимая попытку пересмотреть его суждения, исследователи чаще всего не ставили в связь его оценку «Медного Всадника» со всей суммой философских идей, какими характеризовалось у Белинского творчество Пушкина.

Из отзыва Белинского о «Медном Всаднике» постепенно исчезал дух конкретно-исторического контекста, а верное стремление исследователей проследить становление теории реализма приводило нередко в поисках общего к отождествлению данного Белинским определения «поэт действительности» с понятием «поэт-реалист». Этому последнему приравнивается формула Белинского в работах самых разных жанров: в специальной статье Д. Благого¹ о Белинском и Пушкине, в теоретической монографии Б. И. Бурсова² об эстетике революционных демократов, в исследовании Б. С. Мейлаха³, посвящен-

¹ См.: Благой Д. Белинский и Пушкин. — В кн.: Белинский — историк и теоретик литературы. М. — Л., 1949, с. 268—269; то же в кн.: Благой Д. Поэзия действительности. М., 1961, с. 46—63.

² См.: Бурсов Б. И. Вопросы реализма в эстетике революционных демократов. М., 1953, с. 20, 29.

³ См.: Мейлах Б. С. Художественное мышление Пушкина как творческий процесс. М. — Л., 1962, с. 127—147, 236—244. Новаторская по замыслу и постановке проблемы, книга Б. С. Мейлаха главным образом содержательно характеризует путь художественной мысли Пушкина к общим принципам реалистического искусства — к целенаправленному постижению существенных явлений жизни, к народности, зрелости политических оценок.

ном изучению художественного мышления поэта. Об особом философско-эстетическом отношении Пушкина к действительности, о своеобразном складе его реалистического мышления исследователи писали в связи со статьями Белинского значительно реже. В книге А. Лаврецкого содержится, например, важное указание, что Белинский находил у Пушкина «особую форму приятия действительности»⁴. Ту же конкретно-историческую точность, но уже в исследовании своеобразия миропонимания Пушкина в лирике, находим у Л. Я. Гинзбург⁵. Однако эти уточнения скорее исключение, чем правило.

Мнение Белинского о «Медном Всаднике» не всегда безусловно признавалось, хотя время не раз убеждало, что его оценка поэмы оказалась «много диалектичнее и историчнее, чем иные позднейшие толкования»⁶. В последнее время за необходимость решительного пересмотра его выводов о пушкинской поэме высказался Г. П. Макогоненко⁷. Но и в его опыте критического прочтения отзыва Белинского о поэме также не учитываются многие важные звенья системы суждений критика о мировоззрении Пушкина.

Первым аргументом, ставящим под сомнение авторитетность оценки Белинского, Г. П. Макогоненко считает тот факт, что критик не располагал подлинным текстом «Медного Всадника», читая поэму в том виде, какой придал ей Жуковский, желая приспособить для печати текст Пушкина, вызвавший, как известно, возражения императора. При жизни Пушкина была напечатана лишь часть «Вступления» (стихи 1—92), с пропуском стихов 40—43, замененных четырьмя рядами точек, под заглавием: «Петербург. Отрывок из поэмы»⁸. Исключение Жуковским из поэмы темы бунта Евгения, конечно, не могло не привести к искажению общего смысла произведения⁹. Не случайно мысль о возможности внесения каких-либо изменений в текст поэмы ради ее публикации была отвергнута самим Пушкиным¹⁰.

⁴ Лаврецкий А. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм. М., 1968, с. 169.

⁵ См.: Гинзбург Л. Я. О лирике. Л., 1974, с. 172—242.

⁶ См.: Сквозников В. Д. Стиль Пушкина. — В кн.: Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., 1965, с. 85.

⁷ См.: Макогоненко Г. П. Творчество Пушкина в 1830-е годы. Л., 1974, с. 317—326.

⁸ См.: Библиотека для чтения, 1834. Т. VII, отд. I, с. 117—119.

⁹ См.: Цявловский М. А. «Посмертный обыск» у Пушкина. — В кн.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 276—356.

¹⁰ См.: Соловьева О. «Езерский» и «Медный Всадник». — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. 3. М.—Л., 1960, с. 335.

Белинский отнесся критически¹¹ к первому посмертному собранию сочинений Пушкина, где «Медный Всадник» воспроизводился по тексту, подготовленному для печати Жуковским¹². Пушкинское изображение бунта Евгения, породившее так много споров в позднейшем изучении и толковании поэмы, у Жуковского превращалось в картину духовного потрясения Евгения, склонившегося перед Петром, повергшим «безумца» в священный трепет. Подготовленный Жуковским текст действительно отводил внимание читателя от самого острого мгновения в сюжете поэмы. Вместо известных строк Пушкина с их вещим «Ужо тебе!», Белинский прочел:

Безумец бедный обошел
Кругом скалы с тоскою дикой,
И надпись яркую прочел,
И сердце скорбью великой
Стеснилось в нем. Его чело
К решетке холодной прилегло,
Глаза подернулись туманом...
По членам холод пробежал
И вздрогнул он — и мрачен стал
Пред дивным Русским Великаном
И перст свой на Него подняв,
Задумался. Но вдруг стремглав
Бежать пустился¹³.

Исправления Жуковского, как видим, нарушали общий смысл развития событий в поэме — оставалось непонятным, чем же навлек на себя гнев Всадника смиренный безумец Евгений. Г. П. Макогоненко прав, когда подчеркивает, что эстетическое чутье Белинского «позволило ему сразу понять нелепость, неоправданность» поведения Евгения перед памятником. «Условитесь в том, — писал Белинский, обращая свое недоумение к читателю по поводу необъяснимо резкой смены событий, — что в напечатанной поэме недостает слов, обращенных Евгением к монументу, — и вам сделается ясна идея поэмы, без того смутная, и неопределенная»¹⁴. Отсутствие слов угрозы Евгения Петру, считает Г. П. Макогоненко, «делает невозможным раскрытие подлинного смысла поэмы в соответствии с авторским замыслом»¹⁵. Но впрямь ли невозможно оказалось для Белинского проникновение в сокровенную

¹¹ См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1955, с. 99.

¹² См.: «Современник», 1837. Т. V, № 1, с. 1—21.

¹³ Там же, с. 18.

¹⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 7, с. 542.

¹⁵ Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы, с. 318.

идею Пушкина, которую приглушил и даже направил в противоположную сторону Жуковский? Действительно ли не мог предположить истинного содержания пушкинских слов сразу заметивший отсутствие их Белинский? Обратимся еще раз к его разговору с читателем: «Условьтесь... недостает слов — и вам сделается ясна идея поэмы». Белинский обращает внимание на несоответствие напечатанного текста тону, который диктуется всем движением сюжета поэмы, выйди она из-под руки Пушкина в таком виде, как была создана. Белинский знает, чего недостает в посмертно напечатанном тексте поэмы: «слов, обращенных к монументу». Знает критик и общий смысл пропущенных слов. Это, во-первых, слова главные, без которых «смутна и неопределенна», — по его выражению, — «идея поэмы», во-вторых, это для Белинского, как следует из его замечания, — слова человека, сказанные на пределе его духовного потрясения, вызвавшие непримиримый гнев хранителя и основателя города, нарушившие покой Всадника, — его право и волю. Отчетливо найдено Белинским и то место поэмы, где прерывается движение пушкинской мысли. Все, непосредственно предшествующее сцене «тяжелозвонкого скаканья», кончая словами о «мгновенном гневе» Всадника, казалось критику недостаточным основанием для последовавшего бурного развития коллизии — преследования Евгения и гибели его. Недостаточными, как видим, Белинским были признаны именно слова Жуковского — мертвое белое пятно, прервавшее живой ток повествования: «страх, с каким побежал помешанный Евгений от конной статуи Петра, нельзя объяснить ничем другим, кроме того, что пропущены слова его к монументу»¹⁶, — заканчивал свою мысль критик.

Г. П. Макогоненко словно бы останавливает Белинского на первой половине его замечаний: без сцены бунта идея поэмы остается «смутной и неясной». Но дело как раз в том, что Белинский на этой констатации не остановился, общий смысл подлинных пушкинских слов критику ясен, и он ведет свой разбор поэмы с полной уверенностью в объективной обоснованности своего прочтения «Медного Всадника»: предположим строки, способные объяснить гнев царя и страх Евге-

¹⁶ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. VII, с. 542. Нельзя не принять во внимание замечания В. Б. Сandomирской, что слова Белинского о неясности идеи поэмы представляли собой «прием, вызванный необходимостью в подцензурных условиях указать на искажения и пропуски в тексте поэмы». См.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л., 1966, с. 399.

ния, — обращается он к читателю, — и идея поэмы «вам делается ясна».

Белинский предложил такую формулировку идеи поэмы, в которой охватывались в единстве противоположностей одновременно и право Петра, и право Евгения; «В этом беспрестанном столкновении несчастного с «гигантом на бронзовом коне» и в впечатлении, какое производит на него вид Медного Всадника, скрывается весь смысл поэмы: здесь ключ к ее идее...»¹⁷. Вывод Белинского, что в поэме представлено «торжество общего над частным», что создание Пушкина представляет собою «апофеозу Петра Великого» и что Пушкин оправдывает Петра, бронзового гиганта, который «не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства»¹⁸, — основан на рассмотрении самой резкой противоположности между гигантом и бедным безумцем. «Апофеоза», по мысли Белинского, не исключала у Пушкина неизбежности трагедии Евгения. Г. П. Макогоненко этот вывод расценивает как несоответствующий подлинному значению «Медного Всадника». В последней своей книге исследователь снова настаивает на ранее сделанном им замечании, что приведенные высказывания Белинского, сыгравшие «решающую роль в дальнейшем истолковании поэмы», делались на основании «искаженного текста, из которого исключен бунт Евгения, снят второй лик Петра и возвеличен образ преобразователя»¹⁹. Нельзя не заметить, что в анализе Белинского так называемый «второй лик Петра» (не героя, а деспота) вовсе не исключен из поля зрения, суть дела в другом: этот «второй лик» не отменял для критика темы Петра-героя. Интерес Белинского как раз и состоял в том, чтобы отметить противоречивость исторического облика Петра у Пушкина. Так же, как и трагедия Евгения не исключала для Белинского прославления в деятельности Петра творческого и жизнедательного начала. Внимание критика было занято именно идеей равновеликости действующих лиц поэмы, из которых одно есть воплощение человеческого величия, а второе — малости и беззащитности.

Белинский пишет о «горестной участи личности» и «нашем сокрушенном сочувствии сердцу», которое «вместе с несчастным готово смутиться». Вывод, что «гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа», не

¹⁷ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. VII, с. 545.

¹⁸ Там же, с. 547.

¹⁹ Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы, с. 318.

отменяет этого потрясшего душу Евгения и душу читателя «смущения», он предваряется у Белинского замечанием, что мы признаем необходимость победы Петра «не без содрогания сердца». Мог ли Белинский, чье духовное развитие во второй половине сороковых годов было теснейшим образом связано с социально-историческим и философским обоснованием принципа личности, иначе подойти к этой проблеме в «Медном Всаднике»?

Проблема личной свободы и исторической необходимости вовсе не решается Белинским в его разборе поэмы по методу альтернативного выбора между Петром и Евгением, выбора, сделанного критиком, как считает Г. П. Макогоненко, в пользу Петра. Решение Белинским предложено более сложное, охватывающее противоречивую связь героев.

О «Медном Всаднике» Белинский сказал очень немного. В заключительной статье знаменитого пушкинского цикла, где подводились итоги и рядом с «Медным Всадником» рассматривался обширный круг последних произведений Пушкина, отсутствовал сколько-нибудь подробный анализ поэмы. Однако особая художественная природа философского «Медного Всадника», несмотря на краткость отзыва о нем, Белинским все же была замечена. В афористически кратких формулировках Белинского очерчивалась целая программа размышлений, предстоящих будущим поколениям читателей и критиков.

Всякое суждение о Пушкине, полагал Белинский, «должно быть результатом исторического движения общества». «Здравая критика» не претендует на единовременное решение «вечных» вопросов, а к постижению Пушкина, считает Белинский, может подвести история и только история. Не случайно в самом начале статей о Пушкине, Белинский замечает, что начал свой труд, когда сделало его возможным само время.

«Медный Всадник» «колоссальное произведение» и вместе с другими созданиями Пушкина, посвященными Петру, составляет «самую дивную, самую великую «Петриаду». «Медный Всадник» для Белинского — «поэма», «повесть», он подчеркивает грандиозность обобщений, содержащихся в этом произведении, но вместе с тем заканчивает свой разбор заключением, на первый взгляд, неожиданным: Пушкин «не написал ни одной эпической поэмы».

Важно понять ход мысли Белинского. Он считал, что самый замысел создания эпической поэмы в новом духе едва ли не обязательно обречен на провал, во всяком случае, с его точки зрения, даже Пушкин потерпел поражение в своей

«Полтаве», создав произведение, замечательное по отдельным сценам и частностям, но совершенно неудавшееся ему, по мнению критика, как целое. Пушкин потерпел поражение вследствие анахроничности самого намерения возродить жанр эпopeи. Белинский отвергает мысль о возможности сделать Петра героем эпopeи, и Полтавская битва кажется ему не подходящим для эпopeи событием: при всей важности своей, оно все же не равнозначно тем легендарным деяниям, о которых обычно повествует эпopeя.

Все эти предварившие разбор «Медного Всадника» мысли, кажется, противоречат сделанным в ходе самого анализа поэмы выводам. В начале пушкинского цикла сказано, что эпopeя вообще невозможна сегодня, в конце его признается, что последняя поэма Пушкина — величайшее историческое создание. Однако противоречия здесь нет. По мере того, как Белинским отвергались нормы классической эпopeи, некоторое время еще остававшейся для него эталоном, все яснее вырисовывалась перед ним новая эпическая природа последней пушкинской поэмы. В «Медном Всаднике» Белинский нашел замечательное решение ряда проблем, Пушкиным ранее уже поставленных, но замеченных критиком только в последней поэме.

Белинский принимает прежде всего пушкинское решение темы Петра. С каким внутренним вопросом подходил критик к «Медному Всаднику», показывают его рассуждения о великих личностях русской истории в статье о «Борисе Годунове». Белинского занимала мысль о необходимости конкретно-исторической оценки проблемы великой личности и народа. Назначение гения, считал он, состоит в том, чтобы «ввести в жизнь новые элементы и через это двинуть ее вперед, на высшую ступень»²⁰. «Явление гения — эпоха в жизни народа», в деятельности выдающейся личности сливаются воедино потребности времени и индивидуальная готовность эти веления исполнить. И Петр, по Белинскому, более, чем кто-либо иной из деятелей русской истории, умел наложить печать своей личности на целую эпоху, являясь вместе с тем исполнителем запросов национального развития. Белинский пишет о конкретно-исторической оценке нравственной стороны деятельности людей этого уровня. С исторической точки зрения критик пересматривает вопрос о народном отношении к великому человеку.

²⁰ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. VII, с. 516.

Петра Белинский противопоставляет Годунову. Борис Годунов стремился стать ближе к народу и первым обратил «свое непосредственное, прямое, а не через бояр, внимание на массу народа, на его низший и, следовательно, самый обширный слой». Народ «должен бы боготворить Годунова, и Годунов должен бы быть самым народным из всех бывших до него царей русских»²¹, — замечает Белинский. Однако Годунов справедливо подвергнут всеобщему осуждению и не признан народом. Нравственным оправданием для его власти, — продолжает свою мысль Белинский, — могло бы явиться только действительное личное превосходство над «толпой». Тот, кто в «гражданском отношении еще вчера стоял наравне с нею», должен по своим личным качествам стоять неизмеримо выше массы, — но такого превосходства и подлинного величия у Годунова как раз и не было. Ему оставалась жалкая участь взять на себя роль гения, таковым не являясь и, не поднявшись к высоте подлинных национальных забот, разыгрывать по отношению к народу никогда не уважаемую им роль «любви по-видимому». Совсем иное находит Белинский в Петре. Читая «Медного Всадника», он напоминает, что описанное здесь «плачевное событие» — наводнение 1824 года, — не единственная плата за величие Петербурга, города, как пишет Белинский, «не по одной этой причине столь дорого стоившего России»²². Реформа Петра встретила сильную оппозицию «со стороны всего народа», он «пошел в перекор духу, преданиям, истории, обычаям и привычкам народа». В отличие от Годунова, обращаясь к народу, Петр «никогда не делал ему обещаний, не давал клятв». Но Петр был, по мнению Белинского, гением и настоящим героем, то есть умел понять и осуществить назревшие запросы национальной истории — в этом и состоит нравственное оправдание его дела. Такое оправдание Белинский видит в народном отношении к Петру: «Народ, повинувшись ему безусловно, осуждал его действия и роптал на него, но вместе с тем и любил его до готовности отдать за него последнюю каплю своей крови»²³.

Высокая оценка роли Петра сама по себе не была новой для русской общественной мысли — новым являлось стремление Белинского вывести за рамки абстрактного морализирования самый критерий оценки деятельности выдающейся лич-

²¹ Там же, с. 519.

²² Там же, с. 543.

²³ Там же, с. 521.

ности. Новым было стремление Белинского с точки зрения исторической подойти к таким критериям, как «народное признание» и «принцип гуманизма». Само по себе прославление национальных заслуг Петра еще не сделало бы поэму Пушкина для Белинского произведением «колоссальным», такая высокая оценка не была так же вызвана и особыми художественными достоинствами этого произведения. Поэма была признана «самой смелой» именно по совершенно новому соотношению грандиозности и трагизма. Яркий луч славы падал в поэме на героя, чьи действия послужили причиной трагической гибели невинной жертвы, нотой глубокой печали кончалось произведение, явившееся вместе с тем «апофеозом» Петра. В этом соединении «апофеозы» и трагедии Белинский почувствовал верное выражение духа нового времени.

Высокая оценка роли Петра («путеводная звезда» для России) не мешала Белинскому в четвертой статье пушкинского цикла решительно отрицать возможность изобразить его героем эпической поэмы. Критик опасался ложной идеализации, в какую легко может впасть каждый, решивший показать Петра легендарным героем. Со времени деятельности Петра минуло сто с лишним лет, но он все еще не стал в памяти потомков высокой легендой — эпопея же требует предметов высочайших. В общей памяти, — замечает Белинский, — Петр пока еще слишком «живая» личность, чтобы предполагаемое эпическим жанром героическое изображение его не привело к искусственному замалчиванию всем памятных прозаических подробностей и деталей, связанных в общем мнении с преобразовательской деятельностью Петра.

Идеализация и ходульность в изображении Петра в качестве эпического героя кажутся Белинскому неизбежными. В анализе «Медного Всадника» это рассуждение будет подвергнуто критическому пересмотру. Белинский внесет в него существенную поправку: каждое время требует своих принципов воссоздания эпической полноты национальной жизни. Попытка восстановления классической эпопеи по-прежнему признается анахронизмом, но Белинский знает, что современное искусство своими средствами ставит не менее великие эпические проблемы.

Единство бытия и целостность жизни, какими может выразить их современное искусство, яснее всего виделись Белинскому в романе, «эпосе нового времени», непременным слагаемым которого Белинский считал «прозу жизни», глубоко проникшую «в самую поэзию». Героический пафос истории

получал убедительность и не превращался в идеализацию только при условии соединения его с идеей противоположной — с признанием ценности всего того, что составляло прозу и каждодневность частной жизни. Необходимо было найти поэтическое средостение высокого и обыкновенного, героического пафоса и прозы. Белинский увидел его в «Медном Всаднике».

При всей «колоссальности» идеи, поэма не утрачивает естественности. «Тут не знаешь, чему больше дивиться, — писал Белинский, — громадной ли грандиозности описаний или его почти прозаической простоте, что, вместе взятое, доходит до высочайшей поэзии»²⁴.

Значение такого единства для Белинского станет ясно, если вспомнить его оценки «Годунова» и «Полтавы». Критик полагал, что Пушкину не удалось как целое ни одно из этих произведений. Не приняв историческую трактовку Годунова у Пушкина, Белинский считал, что и вся драма распалась на части, превосходные в отдельности, но не сложившиеся в целое. «Полтава» также казалась ему неудавшейся «поэмой без героя». Мы знаем, что Белинский не находил единства там, где в действительности оно было. Пушкин осваивал новые формы выражения идеи национальной судьбы, исторической необходимости, общих законов бытия. Но Белинский оценил и заметил все это только в «Медном Всаднике».

Примечательны в этом смысле его суждения о действующих лицах нового произведения. Обозначая замысел поэмы, Белинский пишет: «Настоящий герой ее — Петербург». В другом месте, прослеживая фабулу «Медного Всадника», он же замечает: «Герой повести — Евгений, имя, так сдружившееся с пером нашего поэта, который с грустью описывает его незначительность, не соответствующую его понятиям о родословии»²⁵. Центральным лицом «апофеозы Петра Великого», как называл Белинский поэму, Петр, таким образом, не назван, хотя о «великане», «бронзовом гиганте», «Всаднике» речь идет у Белинского почти непрерывно. Обстоятельство это не случайно. В структуре поэмы Белинский заметил некое обьективировавшееся начало — мысль об отдаленных следствиях дела Петра. Важно поэтому, что свое суждение о «Медном Всаднике» критик начал с указания на весьма косвенные следствия деятельности Петра, ставшие, однако, в поэме реально ощу-

²⁴ Там же, с. 544

²⁵ Там же.

тимой силой, вмешавшейся в судьбу Евгения и предопределившей его гибель. Не лично от Петра, — от условий и обстоятельств более всемогущих и общих — страдает Евгений. В самом развитии сюжета обнаруживаются эти силы: «С историей наводнения как исторического события, — пишет Белинский, — поэт искусно слил частную историю любви, сделавшейся жертвою этого происшествия»²⁶.

Тема неотвратимых обстоятельств, повергших Евгения и непосредственно обращенных к нему волею рокового случая, входит и в общую идею поэмы. В Евгении мы видим, — заключает Белинский, — «горестную участь личности, страдающей как бы вследствие избрания места для новой столицы, где подверглось гибели столько людей»²⁷. Перед страдающим и погибшим человеком встает как бы сама история, в данном случае история материализовавшаяся — это город и хранитель его, Всадник.

С образом Петербурга слита центральная мысль произведения. Это не только место действия и даже не только обширное историческое обрамление сюжета — с образом Петербурга связана проходящая через всю поэму идея исторической необходимости.

Коллизию «Медного Всадника» Белинский воспринял как историческое и нравственное противостояние двух непримиримых сторон. Предмет интереса составляют здесь не сами действующие лица как таковые, а необходимость, с которой совершается их неустранимое столкновение. Для Белинского в поэме нет «победителя», хотя он и называет поэму «апофеозой Петра». Главный смысл «колоссального» пушкинского создания — конфликт, не имеющий позитивного исхода и одновременно заключающий в себе и залог прогресса, и источник страдания человеческого.

Поучителен самый процесс формулирования Белинским идеи «Медного Всадника». В толкованиях «Медного Всадника» особенно заметны недостатки того метода прочтения произведений Пушкина, который сам Белинский называл «критикой á rgoros». Предмет изучения в этой критике обычно inevitably терялся, размышления же по поводу изображенной в поэме ситуации уходили так далеко в сторону, что утрачивали, по сути дела, всякую связь с произведением.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же, с. 547.

Анализ Белинского внешне напоминает собою пересказ произведения, максимально приближенный к оригиналу, — так осуществляется первая задача критика, обозначенная им именно в отношении к Пушкину — быть «некоторое время под исключительным влиянием поэта», «смотреть его глазами, слышать его слухом, говорить его языком». Своим пересказом Белинский осуществлял эту важную задачу — он как бы подчинялся диктату произведения, отдавался его внутренней логике.

Приобретшее хрестоматийную известность, определение идеи поэмы у Белинского в позднейших толкованиях этого произведения нередко цитировалось выборочно. Между тем оно по самой методологической своей сути менее всего может подвергаться сокращению, так как развитием своим повторяет развитие пушкинской мысли. Вот оно: «Мы понимаем смущенною душою, что не произвол, а разумная воля олицетворены в этом Медном Всаднике, который в непоколебимой вышине, с распростертою рукою, как бы любит городом... И нам чудится, что, среди хаоса и тьмы разрушения, из его медных уст исходит творящее «да будет!», а простертая рука гордо повелевает утихнуть разъяренным стихиям... И смиренным сердцем признаем мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия к страданию этого частного... При взгляде на великана, гордо и непоколебимо возвышающегося среди всеобщей гибели и разрушения и как бы символически осуществляющего собою несокрушимость его творения, мы, хотя и не без содрогания сердца, но сознаем, что этот бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства, что за него историческая необходимость и его взгляд на нас есть уже его оправдание...»²⁸.

В последующих толкованиях поэмы приведенное здесь мышление нередко подвергалось выборочным интерпретациям. Писали, например, что Белинский безусловно признает превосходство героической личности, с ее государственными заботами, над человеком рядовым, с его сугубо личными интересами.

Однако ссылки на Белинского в подтверждение такого прочтения поэмы, по существу, безосновательны. Признание исторической необходимости, «торжества общего над частным», у Белинского никогда не сводилось к выводу о меньшей ценно-

²⁸ Там же.

сти «частного» по отношению к «общему». Он дал принципиально иное разъяснение взаимосвязи этих понятий: «Общее выше частного, безусловное выше индивидуального, разум выше личности... но ведь общее выражается в частном, безусловное — в индивидуальном, а разум — в личности, и, без частного, индивидуального и личного, общее, безусловное и разумное есть только идеальная возможность, а не живая действительность»²⁹. Белинского интересует именно взаимозависимость «общего» и «частного».

Интерес его сосредоточен на противоречивости исторического прогресса, с такой проницательностью угаданного Пушкиным. «Самая смелая» из всех известных «Петриад» утверждала историческую точку зрения на вечные проблемы гуманизма. «Идеальной возможности» противостояла, по мысли Белинского, «живая действительность», и критическая мысль, следуя за идеей поэтической, останавливалась не перед выбором между Петром или Евгением, а направлялась к осмыслению исторического противоречия их отношений. «Наше сердце вместе с несчастным готово смутиться», — отмечает критик один из моментов развития сюжета, но тотчас же видит, как мгновение мятежного сомнения сменяется у Евгения как бы «сознанием тяжкого греха». За Всадником — «историческая необходимость», за Евгением — право личности. Потому и пишет Белинский о «беспрестанном столкновении» Евгения с Всадником, считая исторически значительным самый процесс их спора; в нем — «весь смысл поэмы».

Для истории изучения «Медного Всадника» небезынтересно напомнить, что Белинский высоко ценил непосредственность пушкинского отношения к жизни в поэме, считая, что «почвою поэзии Пушкина была живая действительность и всегда плодотворная идея» и что в самых общих мыслях о бытии у него всегда содержится «та поэзия, которая не в книгах, а в природе, в жизни»³⁰. Отмечая, что Пушкин «не принадлежал исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине», Белинский находил в его творчестве вместе с тем самый широкий взгляд на жизнь, а потому и необычайно верный «такт действительности».

В пушкинской поэзии совершенно отсутствует, — писал критик, — «поэтическая ложь, разгорячающая воображение, —

²⁹ Там же, с. 307.

³⁰ Там же, с. 321.

ложь, которая ставит человека во враждебные отношения с действительностью при первом столкновении с нею и заставляет безвременно и бесплодно истощать свои силы на гибельную с нею борьбу»³¹. «Медный Всадник» для Белинского как раз и был произведением, предлагавшим понять и признать действительность в одном из самых трагических ее проявлений.

Во взгляде Белинского на Пушкина отразилось все то позитивное, что выработалось в мировоззрении Белинского в период осмысления философии Гегеля, — в особенности же когда созрело у него критическое отношение к самой гегелевской философии истории и личности, приблизившее критика к тому качеству, которое он так ценил в Пушкине — к «такту действительности».

Философское развитие Белинского имело особую и в ряде звеньев весьма примечательную соотнесенность с некоторыми сторонами миропонимания Пушкина. Историческая точка зрения на жизнь предполагала отказ от абстрактной «опеки над родом человеческим», предполагала признание необходимых законов действительности и вывода о том, что в истории всегда осуществляется все то, что имеет достаточные к тому основания³². Эта область идей составила общее у Пушкина и Белинского, хотя истоки подобного рода выводов и последующее их развитие были, как известно, во многом у них различны. Белинский нашел у Пушкина ту широту восприятия действительности в противоречивости ее собственного движения, которая одна предохраняла как от крайностей отрицания прогресса с позиций абстрактного гуманизма, так и от компромиссов преклонения перед «разумной» действительностью.

В этом последнем Белинского не все в Пушкине удовлетворяло. Он считал, что современность требует более действенной программы в подходе к противоречиям жизни. Замечаний такого рода по поводу «Медного Всадника» он не высказывал, но общие рассуждения Белинского относительно пушкинского отношения к «диссонансам» и «противоречиям» жизни находились, несомненно, в связи с оценкой поэмы. Белинский писал: «Вся насквозь проникнутая гуманностью, муза Пушкина умеет глубоко страдать от диссонансов и противоречий жизни,

³¹ Там же, с. 339.

³² К этому вопросу имеют прямое отношение некоторые выводы статьи Г. В. Плеханова «Белинский и разумная действительность». См.: *Плеханов Г. В. Избранные философские произведения в пяти томах. Т. IV. М., 1958, с. 417—468.*

но она смотрит на них с каким-то самоотрицанием (*resignatio*), как бы признавая их роковую неизбежность и не нося в душе своей идеала лучшей действительности и веры в возможность его осуществления»³³. В этом самоотрицании критик находил одновременно и «глубину», «возвышенность» пушкинского взгляда на жизнь, и «недостатки его поэзии». Лермонтовский «дух анализа, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви мышление» Белинский считал, как известно, более современными.

Стремясь утвердить на новой, исторической основе право личности на отрицание действительности, Белинский искал в литературе более активного неприятия «дисгармоний» и «диссонансов». Центр его внимания перемещался к страдающей и неудовлетворенной личности — это и порождало известную избирательность Белинского в отношении к пушкинскому наследию. Он даже спешил, сравнивая Пушкина с Гоголем и Лермонтовым, объявить, что «для Пушкина наступило потомство». Тем больший методологический интерес представляет собою для современного исследователя высокая мера объективности суждений Белинского о Пушкине.

Среди всех, писавших о Пушкине, Белинский вероятно наиболее зрело выразил мысль об относительной неполноте любых критических оценок его творчества. В признаниях такого рода нельзя не видеть возросшей в статьях о Пушкине методологической зрелости критика, профессионального самосознания. От мыслей о «пафосе» поэта и «тайне его личности», ведущих к вершинам критического мастерства Белинского, идет прямая нить к выводу об относительной несводимости поэтической идеи к логическим понятиям, как бы ни были последние точны.

Белинский писал о необходимости двух точек зрения на Пушкина, одинаково верных духу историзма, и это его замечание так же имеет прямое отношение к литературной судьбе «Медного Всадника». Белинский различал конкретное содержание пушкинского наследия для данной эпохи и общее значение его творчества для всякого времени. Пушкин вставал в его сознании как «поэт, в котором есть достоинства безусловные и достоинства временные», как художник, имеющий «значение артистическое и значение историческое»³⁴, — одно не противопоставлялось у Белинского другому.

³³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. VII, с. 344.

³⁴ Там же, с. 101.

Остро сознавая задачи своего времени, Белинский видел необходимость уже отмечавшегося противопоставления Пушкина Гоголю и Лермонтову. Тогда Пушкин характеризовался как писатель, признавший действительность, не вступая с нею в борьбу. Белинский видел в нем не поэта мысли, а совершеннейшего художника, у которого все же нельзя найти ответа на самые жгучие вопросы современности. Но в тех же статьях о Пушкине — и вовсе не в противоречии с только что приведенными выводами — Белинский писал о неисчерпаемом богатстве философско-эстетических и нравственных идей пушкинского творчества, о сокровищах, которые будут востребованы новыми поколениями читателей. Поэтому и универсальность пушкинского мировосприятия предстает Белинскому как бы в двух измерениях. Он пишет о недостатке критической стороны в его взгляде на жизнь, но вместе с тем знает, что широта и свобода пушкинского воззрения на действительность многого стоит. Творчество Пушкина для критика — «вечно развивающееся явление». «Как истинный художник, он владел этим инстинктом истины, — пишет Белинский о Пушкине, — этим тактом действительности, который на «здесь» указывал ему, как на источник и горя, и утешения, и заставлял его искать целения в той же существенности, где постигла его болезнь. И, право, в этой силе, опирающейся на внутреннем богатстве своей натуры, более веры в промысл и оправдания путей его, чем во всех заоблачных порываниях мечтательного романтизма»³⁵. Слова о «существенности», одновременно содержащей в себе и «болезнь», и «средство целения» лучше всего проясняют пушкинское понимание противоречивости исторического прогресса, каким предстало оно Белинскому в «Медном Всаднике». Такой смысл и вкладывался им в воспринятую от И. Киреевского и тогда же с одобрением повторенную самим Пушкиным формулу, — «поэт действительности».

³⁵ Там же, с. 329.

ГЛАВА II

На рубеже двух эпох

К началу XX века «Медный Всадник» был как бы заново открыт. В революционной обстановке 1905 и 1917 годов повышенный интерес к произведению, где Пушкин размышлял об исторических судьбах России, вполне понятен. В поэме ищут ответа на вопрос о смысле великих исторических потрясений, о путях гуманизма. С новой остротой встает и вопрос о роли личности в истории. Характеризуя идейные искания русской интеллигенции той поры, исследователи справедливо вспоминают строки Блока: «Медный Всадник» — все мы находимся в вибрациях его меди»¹. На переломе двух столетий отношение к классическому наследию являлось во многом ступенью самоопределения.

Продолжавшееся на протяжении всего XIX века обращение прозаиков и поэтов к теме Петра и пушкинского Петербурга становится в эти годы особенно интенсивным и идеологически насыщенным². В критическом и исследовательском осмыслении поэмы в ту пору два имени вновь и вновь зовут к спорам о Пушкине — это Белинский и Достоевский. Автор знаменитых статей о Пушкине и писатель, произнесший в 1880 году свою программную речь о великом национальном поэте, часто воспринимаются как идейные антиподы. Пушкин Белинского и Пушкин Достоевского противопоставляются друг другу.

В символистской критике пересматривается наследие Белинского, происходит отказ от гражданственности его эсте-

¹ Блок А. Записные книжки 1901—1920. М., 1965, с. 169.

² После Достоевского, Огарева, Некрасова, Полонского к пушкинским мотивам в решении тем Петра и Петербурга в этот период обратились Блок, Анненский, Белый, Мережковский. Интерпретации пушкинского решения темы Петра в художественной литературе представляют самостоятельный и весьма обширный предмет исследования, их рассмотрение не входит в задачу настоящей работы.

тических воззрений. Правда, в восприятии Пушкина яснее обозначаются новые темы. Возрастает, например, интерес к Пушкину-мыслителю, в особенности к его нравственно-философским идеям. Однако эти идеи чаще всего подвергаются самой свободной модернизации. Пушкинские образы понимаются как символы новейших проблем и понятий. Многозначность образов Пушкина оборачивается мистическим «пророчеством». Остро ощущается связь Пушкина с идеями современности, но проблема преемственности часто утрачивает всякую связь с объективными критериями истории культуры. Принцип субъективности в критике как главнейшая ее привилегия сравнительно с собственно научным интересом к Пушкину защищается неоднократно. Критик противопоставляется «пушкинисту». Меткое замечание Ю. Н. Тынянова, что Пушкин «в эпоху символистов ... был «символистом»³, очень точно определяет и направление критической мысли тех лет, и итог, к которому она пришла.

Отказ от традиций Белинского в выступлениях А. Л. Волынского, Ю. И. Айхенвальда, М. О. Гершензона, Д. С. Мережковского явился одним из выражений общей тенденции антидемократизма. Пушкин для критиков-символистов был «рыцарем духовного аристократизма», его наследие противопоставлялось «утилитаризму», начало которого вели от Белинского и последующей революционно-демократической критики. Пушкин противопоставлялся как идеал Художника демократическим традициям русской культуры даже, когда писали о его народности⁴. При некоторых незначительных отличиях именно таким восприятие Пушкина и Белинского было почти у всех авторов статей юбилейного номера журнала «Мир искусства»⁵, — у В. В. Розанова, Д. С. Мережковского, Н. М. Минского, Ф. Сологуба. В принципе не отличалась от их выступлений, хотя им и противопоставлялась, трактовка Пушкина у В. С. Соловьева⁶.

Модернизаторские искажения Пушкина в духе символизма вызывали возражения у исследователей его творчества, пушкинистов, но голос академической науки почти ничего не ме-

³ Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969, с. 122.

⁴ См., напр.: Сологуб Ф. К. Всероссийскому торжеству. — «Мир искусства», 1899, № 13—14, с. 37—38.

⁵ Розанов В. Заметка о Пушкине; Минский Н. Заветы Пушкина. — «Мир искусства», 1899, № 13—14.

⁶ См.: Соловьев В. С. Особое чествование Пушкина. — «Вестник Европы», 1899, кн. 7, с. 439.

нял. Справедливые замечания С. А. Венгерова⁷, выступавшего против субъективных трактовок Пушкина и Белинского, не привели к восстановлению истины. Вряд ли можно было и ожидать в идеологических спорах начала века, что позиция академического литературоведения даст достаточные основания для победы над реакционным пересмотром классики. Возвращение к Пушкину и Белинскому требовало не только научной объективности, но и глубокой мировоззренческой перестройки интеллигенции. К революционно-демократическому наследию Белинского можно было прийти только от верного решения основных политических и философских проблем нового века, связанных с осмыслением революции.

Любопытным подтверждением этого явилась, например, работа Б. Энгельгардта «Историзм Пушкина. К вопросу о характере пушкинского объективизма»⁸, опубликованная в сборнике под редакцией С. А. Венгерова. В последнее время интерес исследователей к этой долгое время не вспоминавшейся работе вновь оживился, и вполне закономерно: в ней содержится немало верных замечаний об историческом мировосприятии Пушкина. Однако идея исторической необходимости у Пушкина, в толковании которой автор ссыался на авторитет Белинского, по сути дела, понималась им как объективистский эклектизм. Там, где Белинский рассматривал проблему противоречий как объективный закон движения истории, Б. Энгельгардт приходил к выводу, что идея поэмы состоит в примирении противоречий. Признание дела Петра, считал исследователь, невозможно без отказа от признания прав рядовой личности, и, только «отрешившись от человеческой меры», «можно постичь внутренний смысл петровского переворота»⁹. Напоминая известные слова из речи Достоевского о Пушкине, Б. Энгельгардт находил предложенный Пушкиным путь в компромиссном разрешении коллизии: «Смирись, гордый человек, — вот тот ответ, который мог услышать Евгений из уст Медного Всадника и который услышал Белинский»¹⁰. Б. Энгельгардт нашел в поэме не борьбу противоречий, а «двойственность» в освещении событий, двойственность, до которой Пушкин сумел все же подняться, осуждая ничтожность инте-

⁷ См.: Венгеров С. А. Собр. соч., Изд. 2-е. Т. I, 1919, с. 43—45.

⁸ См.: Энгельгардт Б. Историзм Пушкина. К вопросу о характере пушкинского объективизма. — В кн.: Пушкинист. Историко-литературный сборник под ред. проф. С. А. Венгерова, вып. II. Пг., 1916.

⁹ Там же, с. 147.

¹⁰ Там же.

ресов Евгения, заботящегося только о «личном благе». Пушкину чужды были «высоты всеобщего отрицания», наиболее свойственным его миропониманию критик считал «примирение с роком».

Подобное понимание коллизии поэмы (со ссылкой на Белинского или без нее) было довольно широко распространено. Подтверждением может служить, например, работа И. И. Замотина «Пушкин и его эпоха», подготовленная как специальный университетский курс и опубликованная раньше статьи Б. Энгельгардта. Отметив «три типа толкования» «Медного Всадника», сам И. И. Замотин избрал путь, ведущий, по его мнению, к разрешению трагического конфликта. Он считал, что Пушкин предложил для будущего выход из неразрешимой коллизии: «если эта историческая личность (Петр. — Г. М.) — сумеет встать на точку зрения коллективного желания и будет служить этому желанию самоотверженно, то историческое развитие будет двигаться самым желательным путем»¹¹. Как видим, универсальный принцип диалектических противоречий истории, которые Белинский воспринимал в поэме Пушкина как путь борьбы, в общепринятой трактовке поэмы постепенно сглаживался. Великая трагическая проблема нивелировалась до описательной констатации разнонаправленных сил общества. Отыскивались пути мирного соединения трагически разобщенных стремлений.

В конечном счете, восприятие Пушкина, как и в целом классического наследия, определялось отношением к революции. Две наиболее противоположные точки зрения на поэму представлены статьями Д. С. Мережковского и В. Брюсова. И тот, и другой считали поэму «самым революционным произведением Пушкина». Но Д. С. Мережковскому «Медный Всадник» казался предсказанием грядущей катастрофы, конца петербургского периода русской истории. В. Брюсова увлекала в поэме мысль о неизбежном торжестве человеческой свободы.

Символисты видели в Пушкине своего предтечу, его именем они желали освятить свои мистические искания в области философии и этических учений. Они пытались соединить свое эстетическое кредо с культом Пушкина, культом высочайшей культуры, которой теперь угрожает гибель. «Колеблемый треножник» Пушкина-жреца В. Ходасевич призывал спасти от «черни», перекликаясь заветным именем со своими единомыш-

¹¹ Замотин И. И. Пушкин и его эпоха. Варшава, 1911, с. 340.

ленниками в «надвигающемся мраке»¹². Мистическое откровение увидел в «мудрости Пушкина» М. О. Гершензон¹³, Д. С. Мережковским пушкинская простота и гармоническая ясность были объявлены «аристократизмом духа», которому угрожает «демократическое варварство черни»¹⁴.

В. Брюсов писал об историческом оптимизме пушкинской поэмы. Почти все упомянутые критики изучали Пушкина как исследователи. Среди них мы найдем и авторов специальных историко-литературных статей и монографий, составителей комментариев, специалистов в области стиховедения. Обширна и разнообразна также и брюсовская пушкиниана. Однако связь науки и критики предстает здесь в разном качестве. От конкретного материала символисты нередко шли к поискам аналогий, к ассоциативным построениям, чаще всего искажавшим объективную природу предмета. Здесь преобладал метод антиисторического «толковничества» Пушкина (меткий термин Б. В. Томашевского). Статья В. Брюсова о «Медном Всаднике», представляющая собою развернутый комментарий к поэме в III томе венгеровского издания произведений Пушкина¹⁵, направлялась как раз против произвольных трактовок поэта. Усилия Брюсова-критика были направлены прежде всего к тому, чтобы освободить текст поэмы от произвольных наслоений. Он осуждал субъективизм в суждениях Д. С. Мережковского о Пушкине.

Д. С. Мережковский писал о Пушкине как философ культуры, критик, литературовед и публицист. С Пушкиным соприкасались также и его писательские интересы — последняя часть трилогии «Христос и Антихрист» посвящалась пушкинской теме — Петру и его эпохе. Но чем шире осмысливался Пушкин Д. С. Мережковским, тем обширнее были и границы допущенной им ошибки, собственно, уже не ошибки, а коренного заблуждения. Пушкинское творчество погружалось у Д. С. Мережковского в область мистических философских построений — борьбы «языческих» и «христианских» начал в истории мировой культуры — совершенно не зависимо от того, интересовало ли самого Пушкина «язычество» и «христианство».

¹² Ходасевич В. Статьи о русской поэзии. Пг., 1922, с. 118—121.

¹³ Гершензон М. О. Мудрость Пушкина, 1919, с. 48.

¹⁴ Мережковский Д. С. Вечные спутники. — В кн.: Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. Т. XIII. СПб. М., 1911, с. 352—362.

¹⁵ Брюсов В. «Медный Всадник». — В кн.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Изд. Брокгауз—Ефрон. Под ред. С. А. Венгерова. Т. III. СПб., 1909, с. 456—465. См. также: Брюсов В. Мой Пушкин. М.—Л., 1929.

Д. С. Мережковский писал о губительном разрыве современной культуры с пушкинской традицией и искал ключ к тайне «стройного мирозерцания» поэта, тайне, утраченной современным искусством. В Пушкине он видел желанный пример цельной личности, гармонического мироприятия. Однако никаких путей возвращения к Пушкину или приближения к нему Д. С. Мережковский не нашел. Над его писаниями о Пушкине веет созерцательная печаль о невозможном более совершенстве, однако созерцание это отнюдь не было отрешенным от актуальных проблем времени. Отношение к Пушкину являлось важной составной частью активно отстаиваемой критиком эстетической программы. Это было элитарное неприятие современности. Отвергались не только «ужасные уродства» буржуазной культуры, отвергалась и революция как дело «массы». Подобное отрицание сознавалось Д. С. Мережковским как духовная привилегия немногих, как позиция избранных, и его критика перерождалась в критицизм касты, становясь, в сущности, неотделимой от буржуазного «зла», против которого она якобы направлялась.

Философия «героев» и «жертв», развернутая Д. С. Мережковским в анализе «Медного Всадника», явилась выражением этого миропонимания. Д. С. Мережковский высоко ценит героическое начало в истории и искусстве. Ценит как пример утверждения человеческого Я. Петр — едва ли не единственное героическое лицо в русской истории. Это великий зиждитель, на всех делах которого лежит, однако, печать рока. Печатью рока отмечен и державный город, «умышленный» царем на болотной топи. Но при всей роковой ущербности, Петр — то человеческое величие, которого не знает современность. Настоящее безгеройно, великие заветы Петра навсегда утрачены в русской истории, — по сюжету известной лубочной картинки Петра погребают мстительные «мыши» — мещане. Революция, по Д. С. Мережковскому, также безгеройна, как и буржуазные будни, это господство серой «черни».

Пушкин, по мнению Д. С. Мережковского, едва ли не единственный среди всех русских писателей, в ком, как и в Петре, было живо героическое, волевое, жизнеутверждающее начало. Оттого-то «эта «божия гроза», это великолепие, этот избыток удачи, воли, веселия, которое чувствуется в Петре и в Пушкине»¹⁶. Никто, кроме Пушкина, не мог подняться к такому светлому решению петровской темы. Однако это славословие

¹⁶ Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. Т. XIII, с. 353.

«героям» у Д. С. Мережковского обрывается идеей «христианского» смирения. Героям в его философии нет простора для действий и волеизъявлений, над ними тяготеет рок.

Коллизия «Медного Всадника» понята критиком как столкновение двух, извечно противостоящих — и в русской, и в мировой истории — начал: «христианства» и «язычества». Извечно в одном типе человека происходит «обожествление Я в героизме», в другом — отрешение «от Я в боге». В этом свете выступают у Д. С. Мережковского Петр-герой и Евгений-жертва. Целостность поэмы, как и миропонимания Пушкина, состоит в удивительном, никому, кроме Пушкина, не доступном, внутреннем равновесии «христианских» и «языческих» тем. Пушкин одновременно восхищен Петром и преклонен перед жертвенностью Евгения. Такого «равновесия» не знал ни один из последующих гениев русской литературы. После Пушкина сна всегда поднимала на пьедестал только святость «жизни для других», — изображение героя уже никому не удавалось.

Право героя на утверждение своего «Я» рассматривается Д. С. Мережковским как нечто нравственно непреложное, от века данное, а положение жертвы и самая идея жертвенности поднимается им на высоту христианского подвига, освящается ореолом высшего смирения. При этом конкретная коллизия истории и пушкинская объективная точность освещения ее превращаются у Д. С. Мережковского в картину фатальной непреложности вселенского страдания «жертв» и господства «героев»: «Не для того ли рождаются бесчисленные, рядовые, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим целям? Пусть же гибнущий покорится тому, «чьей волей роковой над морем город основался»¹⁷. «Червь земли» может «возмутиться против своего бога», спокойствие «горделивого истукана» может нарушить слабый шепот угрозы Евгения. Однажды прозвучав в поэме Пушкина, он уже не умолкнет в русской литературе. Но Д. С. Мережковский оперирует уже не конкретными обстоятельствами петровской эпохи, вообще забывает о конкретном содержании пушкинского гуманизма и говорит об истории России и русской литературе категориями самых отвлеченных религиозно-философских построений.

Евгений по-своему высок для Д. С. Мережковского; высок в добровольности отрешения от собственной личности, в святом неведении своих прав, в своей «малости». Но Евгений

¹⁷ Там же, с. 343.

признается им до тех пор, пока он смиряется и страдает. Когда же в «дрожавшей твари» «откроется бездна не меньшая той, из которой родилась воля героя», — начнется распадение бытия. В конце концов, «вызов малых великому» звучит для критика как «богохульный крик возмущившейся черни».

«Медный Всадник» для Д. С. Мережковского — произведение, одиноко стоящее в русской литературе. После Пушкина литература станет «демократическим и галилейским восстанием»¹⁸ на бронзового гиганта, писатели позовут «Россию прочь от единственного русского героя, от забытого и неразгаданного любимца Пушкина, вечно одинокого исполина на обледеневшей глыбе финского гранита...»¹⁹. Гоголь, Достоевский и Толстой не продолжили пушкинского пути, но навсегда от Пушкина ушли. Демократизм и гуманизм русской культуры для Д. С. Мережковского в своем развитии явился, таким образом, процессом утраты пушкинского света и гармонии.

Одиноким и непонятым представлялся Д. С. Мережковскому Пушкин и в русской критике. Считая, что «субъективная критика» ставит своей целью дать отчет, как действует произведение на «ум, сердце и волю» читателя и желает «найти свое в чужом, новое в старом», «представить дневник читателя в конце XIX века», Д. С. Мережковский с этой же мерой подошел и к Пушкину. Единомышленников здесь у него почти нет: «никто, кроме Достоевского, не делал даже попытки найти в поэзии Пушкина стройное мирозерцание, великую мысль»²⁰. Д. С. Мережковский, казалось бы, должен был назвать имя Белинского, но как раз именно в нем своего предшественника он не видел. И даже Достоевский, сказавший так много об идее смирения, не вызывает у Д. С. Мережковского особого сочувствия. В общей линии «отклонения» от Пушкина Достоевский как критик также не мог в полной мере оценить пушкинскую гармонию.

Отделяя свое эстетическое кредо от принципов русской критики²¹, Д. С. Мережковский, по сути дела, проводил границу между историзмом и гражданственностью, с одной стороны, и принципиальным антиисторизмом, с другой.

Он дал единственное в своем роде обоснование метода и целей «субъективной критики». Исходя из факта постоянных

¹⁸ Там же, с. 345.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же, с. 283.

²¹ Там же, с. 282—283.

перемен в восприятии наследия классиков, когда «каждое поколение требует объяснения великих писателей прошлого в своем свете, в своем духе, под своим углом зрения»²², — Д. С. Мережковский переходил к решительному разделению объективной истины и субъективного ее восприятия. Научное изучение писателя и объективная критика прямо противоположны тому, что предпочел он сам — критике субъективной. Наука имеет дело, с его точки зрения, с предметами неподвижными — изучает творческий путь писателя, обстоятельства его жизни, с творчеством связанные. Все это — сумма фактов, собрание величин «конечных». Потому и сама наука и объективная критика конечны: «всякий предмет исследования может быть исчерпан до конца». Объективная критика «раз навсегда может дать писателю верную оценку и более не нуждаться в повторениях». Другое дело «критика субъективная» — перед ней нескончаемый поток меняющихся восприятий. Этот поток Д. С. Мережковский ставил в зависимость только от сознания воспринимающего, отрицая полностью влияние исторических условий, при которых определенное произведение возникло и при которых оно воспринято. Цель субъективной критики — постичь влияние далекого предшественника на современного человека, «изобразить действие» души писателя, отдаленного от нас многими веками, «на внутреннюю жизнь критика как представителя известного поколения». Отсюда и жанр критической статьи — «дневник читателя», причем этот дневник лишь в весьма косвенной форме сознавался как документ исторический. Эстетическая жизнь произведения из явления исторического почти полностью превращалась в поток субъективных ассоциаций. В этом состояло коренное отличие понимания «вечного» у Д. С. Мережковского от того толкования непреходящей ценности Пушкина, какое мы находим у Белинского. В диалектике абсолютной и относительной истин Белинский различал один постоянный ориентир и объективный критерий — историю. Д. С. Мережковский в поисках «своего в чужом» полагался только на «искренность» свидетельств субъективного восприятия.

Взгляд Д. С. Мережковского на Пушкина был подвергнут критике в статье В. Брюсова о «Медном Всаднике», одной из самых значительных работ в истории изучения поэмы. В последнее время ссылки на авторитет В. Брюсова в защите но-

²² Там же, с. 2

вых прочтений «Медного Всадника», противопоставленных Белинскому, делались неоднократно, и возникает необходимость внимательно перечитать написанную В. Брюсовым в 1909 году работу.

Прежде всего, В. Брюсов возражал Д. С. Мережковскому как ученой. Опираясь на историю создания и публикации поэмы, имея перед собою рукописи Пушкина, поставив поэму в связь с другими произведениями поэта и учитывая роль литературно-идеологической среды, в которой «Медный Всадник» создавался, В. Брюсов протестовал против взгляда на Пушкина как предшественника религиозно-философских исканий символистов. Спорил В. Брюсов с Д. С. Мережковским и как поэт, нашедший на рубеже двух эпох свой путь к традициям свободолюбия в русской классике.

Свое прочтение поэмы В. Брюсов противопоставил трем наиболее известным к тому времени трактовкам «Медного Всадника» — воззрениям Д. С. Мережковского, толкованию, предложенному польским ученым И. Третьяком, читавшим поэму как политический ответ Мицкевичу, и — концепции Белинского. Две первые трактовки были В. Брюсовым весьма убедительно отведены как неосновательные. С Белинским дело обстояло сложнее.

Главным аргументом против Мережковского у Брюсова явился конкретный анализ самой поэмы. Брюсов стремился постичь внутренние законы бытия поэтической идеи. Этим определялись проблематика и метод его статьи. Построение поэмы, система ее образов и развитие сюжета, особенности стиха и лексический состав языка — все это для Брюсова представляло большой интерес как материализация идеи, реальное воплощение идейного замысла. В отличие от Мережковского он ищет объективные критерии суждений о пушкинском произведении в законах собственной его жизни как художественного организма. Тем самым ставятся строгие пределы для субъективных ассоциаций, и Брюсов обоснованно доказывает, что борьба «языческих» и «христианских» начал Пушкина совсем не занимала, а следовательно, и не должна быть ему приписываема.

Брюсов идет в рассмотрении поэмы от конкретно-исторических проблем, действительно интересовавших Пушкина-поэта, историка, гражданина, и вводит поэму в широкий круг историко-социальных идей творчества Пушкина. В этой широте понимания исторической проблематики поэмы он справедливо возражает И. Третьяку, заключившему поэму в очень узкие

политические рамки и видевшему в ней род оправдательного ответа Пушкина Мицкевичу²³.

В основе «Медного Всадника» лежит, по мнению Брюсова, идея свободы, как понял ее Пушкин в 30-е годы. Брюсов так выражает основной ход размышлений поэта: «Да, как бы говорит Пушкин, я не верю больше в борьбу с деспотизмом силами стихийного мятежа; я вижу всю его бесплодность. Но я не изменил высоким идеалам свободы. Я по-прежнему уверен, что не вечен «кумир с медною главой», как ни ужасен он в окрестной мгле, как ни вознесен он «в неколебимой вышине». Свобода возникнет в глубинах человеческого духа, и «огражденная скала» должна будет опустеть»²⁴.

Яснее и решительнее, чем кто-либо до него, Брюсов сказал о мятеже Евгения, справедливо обратив внимание на определяющее композиционное значение сцены прозрения «жертвы», и если для Д. С. Мережковского революционные предвещения поэмы были «мрачными» — для В. Брюсова Пушкин — светлый пророк свободы. В этом пафосе борьбы за свободу личности брюсовское понимание поэмы объективно оказалось наиболее близким Белинскому. Право личности в великом и малом составляло главную мысль Белинского. Однако сам Брюсов понял Белинского иначе.

Брюсов увидел в его суждениях только защитника права Петра — выразителя «коллективной воли», олицетворения «исторической необходимости»: «из двух столкнувшихся сил, — пояснял Брюсов точку зрения Белинского, — прав представитель «исторической необходимости», Петр»²⁵. Обязательность альтернативного вывода — оправдать или обвинить — необходимость выбора между Петром и Евгением, как бы предполагавшаяся самим текстом поэмы, Брюсовым не ставится под сомнение, кажется ему изначальным и последним вопросом, ради которого, собственно, и создано все произведение. Ему представляется, что весь строй поэмы ставит читателя не перед противоречивым целым бытия и истории, как воспринял

²³ В. Брюсов писал: «И ответ Пушкина проф. Третьяк пытается пересказать в таких словах: «Правда, я был и остаюсь провозвестником свободы, врагом тирании, но не явился ли бы я сумасшедшим, выступая на открытую борьбу с последней? Желая жить в России, необходимо подчиняться всемогущей идее государства, иначе она будет меня преследовать, как безумного Евгения». (Брюсов В. «Медный Всадник». — В кн.: Пушкин А. С. Собр. соч. Под ред. С. А. Венгерова. Т. III. СПб, 1909, с. 457—458).

²⁴ Там же, с. 465.

²⁵ Там же.

произведение Пушкина Белинский, а именно перед необходимостью выбора в качестве исторически и нравственно справедливой позиции одного из героев.

Брюсов не вошел в оценку самой существенной стороны суждений Белинского и не принял во внимание именно отказ Белинского от альтернативной постановки вопроса. Больше того, он понял Белинского как критика, сделавшего выбор в пользу Петра и тем нарушившего свободолобивую устремленность пушкинской мысли. Примененное Белинским в суждениях о «Медном Всаднике» понятие «историческая необходимость» кажется Брюсову вообще неприложимым к пушкинской поэме, едва ли не в такой же мере ей чуждым, как и понятия «христианство» и «язычество».

Расхождение между Брюсовым и Белинским начинается уже с самого определения коллизии поэмы. Белинского занимала проблема исторического противоречия, он размышлял о многозначности открытого финала поэмы. Брюсов, напротив, не придавал значения самому противоречивому процессу, противоречиям как условию развития истории, он стремился мыслью к итогу, к результату столкновения личности с деспотической властью. Два критика смотрели на одно и то же явление с разных точек зрения. Расхождение это, как увидим, в ряде выводов привело Брюсова даже к отступлению от самой пушкинской поэмы, к стремлению проецировать ее события в будущее и как бы дописывать сюжет пушкинской поэмы, продолжать ее события там, где они закончены.

Система образов «Медного Всадника» понята Брюсовым как противопоставление «двух крайностей: высшей человеческой мощи и предельного человеческого ничтожества»²⁶. Брюсов точен, когда, изучив историю создания поэмы, объясняет, почему Пушкину необходимо было сгладить в Евгении все индивидуально-неповторимое и так далеко «простереть свою строгость» художника в этом отношении, чтобы уже ничто не выделяло его коломёнского чиновника «в безликой массе ему подобных»²⁷. Однако критерий Брюсова при этом в оценке роли Евгения все же не всегда совпадает с той мерой «человеческого» и «личного», которая принята в самой поэме.

²⁶ Там же.

²⁷ Впервые на эту особенность типизации в связи с общими стилистическими заданиями Пушкина в «Медном Всаднике» обратил внимание П. В. Анненков (см.: Анненков В. П. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. СПб., 1873, с. 376).

В самом деле: «малое» и «ничтожное» Брюсов объявляет едва ли не синонимами, — но пушкинский текст таких сближений, а тем более отождествлений не дает. О Евгении есть основание говорить как о «малом» и «незначительном», и совершенно нет — как о «ничтожнейшем из ничтожных». Между тем Евгений назван в статье Брюсова именно так. Безличие Евгения, смиренность его равна у Брюсова убожеству. Нищете человеческого духа в Евгении противостоят, как считает он, человеческое величие, дерзновенная воля, творческий гений Петра. И Брюсов признает за Петром в первой части поэмы право преобладания. Однако отношение критика к «малому» герою поэмы резко меняется, как только «жертва» начинает свой протест. Момент прозрения и протеста Евгения открывает новую страницу истории героя.

Перелом происходит с вещаго «Ужо тебе...», со слов, которых не знал Белинский. Брюсов обращает внимание на то, что здесь у Пушкина в изображении Евгения появляется отсутствовавшая прежде «торжественность тона, обилие славянизмов» и что это свидетельствует о перемене авторского отношения к Евгению. Когда в смиренной жертве пробудилось мятежное самосознание, Евгений впервые предстает личностью. «Мятеж против насилия чужой воли над судьбой его жизни» поднимает дух в Евгении, здесь он «внезапно почувствовал себя равным Медному Всаднику»²⁸. Брюсов считал этот момент повествования самым существенным в определении идеи поэмы. Белинский, — полагал Брюсов, — «принял сторону Петра», — сам он решительно встает на сторону Евгения. Петр для Брюсова возвышенно-прекрасен, когда противостоит «ничтожеству», и устрашающе мрачен, когда преследует мятежного Человека. В Петре видится Брюсову столь же резкий, как и у Евгения, перелом. В разборе поэмы Брюсов нигде не преувеличивает ни степень осознанности, ни силу протеста Евгения, как это не раз делалось позднее. Идя за текстом, он замечает, что Петр и из этого, второго поединка с человеком, поднявшим свой голос за свободу, вышел победителем, как и из поединка со стихийными силами природы. Смирились перед ним и бурная Нева, и восставший на мгновение Евгений. Безумца «похоронили ради бога». Отмечая, что после своего минутного мятежа Евгений вновь смирился, Брюсов считает,

²⁸ Брюсов В. «Медный Всадник». — В кн.: Пушкин А. С. Собр. соч., под ред. С. А. Венгерова. Т. III, с. 464.

однако, что решающее значение для развития авторского замысла имеет именно эта минута прозрения в жизни героя. Значение одной этой сцены распространяется Брюсовым, по сути дела, на всю поэму, которая и воспринимается им как пророчество грядущих революций. Подобная избирательность в отношении к сюжетному составу «Медного Всадника» и его композиции имела под собой основание. Брюсов сумел доказать, что бунт Евгения не только эпизод в его судьбе, но и существеннейший момент в общем воззрении Пушкина на историю. Однако избирательность Брюсова все же исключила из поля его зрения многое. Например, мысль о великой значимости рядового человека в его каждодневном и безвестном существовании, мысль, что и в «смирненной» участи человек остается полноправной и необходимейшей частицей общего бытия, предъявляющей истории свои неотменимые вопросы. Брюсовская трактовка поэмы отражала противоречивые черты ее героев: Петр выступал и гением созидания, и тираном, Евгений был и жертвой, и бунтарем. Но эти противоречия как бы разграничивались Брюсовым во времени. В его прочтении поэмы Евгений сначала был покорным, а потом стал мятежником, как и Петр — сначала предстал героем, а затем оказался трагически ужасающим гигантом. Единство диалектических противоречий заменялось у Брюсова разделением противоречивого на две противоположные «части». Сравнение этого взгляда на поэму с оценкой ее у Белинского рождает ряд вопросов. Насколько правомерен такой способ обозначения пушкинской мысли о противоречиях истории? Не меняется ли от такого, как у Брюсова, понимания противоречий общий смысл произведения?

Ответ на эти вопросы проясняется уже в отношении его к образу Петра. Брюсов развивает тему трагической вины Петра. Выступив против человеческой свободы как высшего принципа, Петр, сколь бы ни были велики его деяния, все же понесет свою заслуженную кару. Человечество низвергнет тиранов, однажды пробудившись «в глубинах человеческого духа», свобода восстановит свои права. Брюсов проецирует мятежное чувство Евгения на далекую перспективу исторических событий и рисует картину, которой в поэме нет: настанет миг, когда «огражденная скала опустеет». Сказано это, в сущности, не о поэме, но по поводу ее. Противоречия приведены к однозначному итогу. Кто был героем, повергнут, несмотря на все свое могущество, как поправший свободу; тот же, кто был жертвой, станет, наконец, свободным человеком.

Поэма понята как произведение, прямо ведущее к финалу-апофеозу, только не апофеозу Петра, как считал Белинский, а к возвеличению идеи свободы. Кумиры рухнут, как бы ни была велика их слава. Поэма, несомненно, дает основание такой вывод сделать. Но возникает вновь вопрос: достаточен ли он для системы исторического мировосприятия Пушкина, как отразилось оно в поэме? Отрицательный ответ на этот вопрос возникает уже при первом обозрении общей композиции произведения.

Нельзя не принять во внимание, что торжественный финал «Вступления» к поэме и скорбная строка финала главной ее части остаются у Пушкина равновеликими.

Статью Брюсова в последнее время противопоставляли отзыву Белинского о поэме как «гуманистическую» концепцию «государственной». В таком противопоставлении в известной мере повторяется отношение самого Брюсова к трактовке Белинского, но оно было, как видно из сопоставления их работ, все же очень односторонним.

В споре с теми, кому революция казалась «бездной», Брюсов отстаивал взгляд на поэму Пушкина как произведение исторического оптимизма — в этом объективно его связывала с Белинским несомненная идейная преемственность. Взгляд Белинского на поэму был исполнен гуманистической веры в человека никак не в меньшей мере, чем статья Брюсова. В 1909 году Брюсову сравнительно с Белинским, конечно, слышались в шепоте возмущенного Евгения куда более громкие ноты, и пушкинское «шепнул он, злобно задрожав», превращалось у него в гул приближающегося грома. Однако Брюсов не принял во внимание одной важной стороны пушкинского развития гуманистической темы, верно подхваченной Белинским. В страдающем, непритязательно-обычном Евгении Белинский видел личность, вполне законно и достойно противостоящую Петру.

Не обратил внимания Брюсов и на некоторые важные идеи в подходе Белинского к исторической роли Петра. Белинский видит пушкинского Петра в одно и то же время и героически возвышенным, и ужасающе огромным в своей подавляющей власти. Для Белинского это не «два лика», как для Брюсова, а исторически неизбежная противоречивость деятельности одного лица, одного характера. Брюсовская мысль об историческом возмездии была созвучна современности, но она не затрагивала ни проблемы исторической необходимости, ни вопроса о противоречивости исторического прогресса, а эти

вопросы были также поставлены в поэме. Не воспринимал Брюсов и завершение пушкинской поэмы как финал открытый. Тем самым оснований для вывода о том, что статья Брюсова представляет собой критический пересмотр суждений Белинского о «Медном Всаднике», по существу, нет. По ряду важных проблем он не вступил с Белинским в спор.

Своей статьей на рубеже двух веков Брюсов выразил наиболее убедительно сопричастность пушкинской поэмы идее революционного возмездия деспотизму, он отстаивал глубоко демократическую сущность пушкинского наследия — в этом его заслуга.

ГЛАВА III

Вечно развивающееся явление

Обширная литература о «Медном Всаднике» в советское время отразила общие этапы истории изучения Пушкина. Условно в ней можно выделить три направления, между собой тесно связанные. Это область текстологии; круг проблем мировоззренческих; наконец, собственно поэтика «Медного Всадника» в широком значении этого термина — принципы построения поэмы, связь ее с поэтической традицией, своеобразие ее стиха и стиля.

Следует прежде всего отметить основополагающее значение работ текстологических¹, укреплявших конкретно-исторический принцип изучения поэмы. В исследованиях этого ряда² высоко ценился объективный состав самого первоисточника — текста — в конкретных условиях его возникновения и формирования. Выдвигавшиеся текстологами объективные критерии были особенно необходимы, когда поэму Пушкина в дискуссиях 20-х и 30-х годов нередко воспринимали как произведение иносказательное и предлагали для его «дешифровки» произвольные и чаще всего очень узкие программы, будто бы имевшиеся Пушкиным в виду и скрытые в тексте «Медного

¹ История текстологического изучения поэмы содержательно изложена В. Б. Сандомирской (см. в кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения, с. 399—402).

² См.: «Медный Всадник». Петербургская повесть А. С. Пушкина. Илл. А. Н. Бенуа. СПб., 1923 (изд. набрано в 1917 году), статья П. Е. Щеголева; Измайлов Н. В. Из истории замысла и создания «Медного Всадника». — В кн.: Пушкин и его современники, вып. 38—39, 1930, с. 169—190; Зенгер Т. (Цявловская). Николай I — редактор Пушкина. — В кн.: Литературное наследство. Т. 16—18. М., 1934, с. 521—524; Бонди С. М. «Езерский» и «Медный Всадник». — В кн.: Рукописи Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. М., 1939; в последнее время в текстологическую проблематику изучения «Медного Всадника» внесен ряд уточнений О. С. Соловьевой (см.: Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный Всадник»). История текста. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. III, М. — Л., 1960, с. 268—344).

Всадника». Перечитывая сегодня строки текстологического комментария к «Медному Всаднику», нельзя не обратить снова внимания на методологическое значение содержащейся в нем критики многочисленных попыток «разъяснить» поэму, попыток, предпринимавшихся в разное время исследователями самых разных идейных ориентаций.

Подхваченный вульгарным социологизмом метод однозначного определения политической и социальной программы, которой якобы придерживался Пушкин в 30-е годы и которую он выразил в своей программной поэме, был заявлен в основных своих чертах еще в дореволюционном литературоведении, — выходы его в область истории не всегда сопровождались достаточным вниманием к специфике художественного познания. Долгое время очень стойким было сложившееся еще в пятидесятых годах XIX века мнение, что Пушкин в 30-е годы ищет примирения с существующим положением вещей. А. Н. Пыпин считал, например, что «Медный Всадник» был задуман как произведение, в котором поэт имел намерение высказать созревшее у него отрицательное отношение к преобразованиям Петра³. Мысль о том, что в «Медном Всаднике» выражены антипетровские воззрения Пушкина на русскую историю поддерживалась также и указанием П. П. Вяземского, сообщавшего, что после известных слов Евгения, обращенных к монументу, у Пушкина, читавшего поэму в кругу близких людей, будто бы следовал монолог безумного чиновника, содержащий резкое осуждение начатых Петром насильственных путей насаждения европейской цивилизации⁴. Мнение о заметном охлаждении энтузиазма Пушкина в отношении к Петру и даже о радикальном пересмотре прежних оценок его деятельности, что, в целом, никак не подтверждалось творчеством поэта, нашло позднее отражение в работах В. Д. Спасовича⁵ и И. Третьяка⁶. В. Д. Спасович считал поэму замаскированным осуждением дела Петра, а Третьяк — вынужденным примирением Пушкина с Петром и с самодержавием. Именно на основе этого метода истолкования художественного про-

³ См.: Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. Исторические очерки. СПб., 1909, с. 83.

⁴ См.: Вяземский П. П. — А. С. Пушкин. 1826—1837. По документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям кн. П. П. Вяземского. СПб., 1880, с. 71—72.

⁵ См.: Спасович В. Д. Пушкин и Мицкевич у памятника Петра Великого. — В кн.: Спасович В. Д. Соч. Т. II. СПб., 1889, с. 250—257.

⁶ См.: Tretjak J. Mickiewicz i Puszkín. Warszawa, 1906.

изведения как определенной политической доктрины долгое время держалось и представление о том, будто главная цель Пушкина в «Медном Всаднике» состояла в полемическом ответе Мицкевичу, в развитии противоположной его призывам программы поведения поэта под игом самодержавия. Субъективизм такого рода исследовательских концепций, когда система аргументации критика настолько отрывается от текста произведения, что обнаруживает «только остроумие автора статьи, не принося пользы делу»⁷, — замечен давно. Выводы о том, что поэму Пушкина следует читать прежде всего как художественное произведение, отразившее события реальной жизни, что это не политический памфлет и что в поэме не пропагандировались программы, близкие «западничеству» или «славянофильству», а был предложен более широкий взгляд на историю, делались неоднократно и в старой академической науке, когда исследование поэмы проводилось с более точным, чем у А. Н. Пыпина, учетом фактов, — например, И. Н. Ждановым⁸, Д. Н. Овсяннико-Куликовским⁹.

Однако самым основательным возражением — и не только против названных интерпретаций пушкинской поэмы как прямого ответа Мицкевичу — явилось текстологическое изучение «Медного Всадника». Конкретный процесс формирования пушкинской поэтической идеи, изучение связи «Медного Всадника» с поэмой «Езерский», позволили дать авторитетное разъяснение вопроса о границах прямого воздействия Мицкевича на замысел Пушкина и, вместе с тем, показать, как широк был круг раздумий поэта, воплотившихся в его философско-исторической поэме. «Мне представляется, — писал С. М. Бонди, — приписывание решающей роли в создании «Медного Всадника» впечатлениям от чтения Мицкевича — несколько преувеличенным. Несомненную связь между этими произведениями можно найти лишь во второй части вступления к повести Пушкина («Люблю тебя, Петра творенье...»). Здесь, действительно, «каждый образ является ответом и выражением на образы Мицкевича». Литературный образ «Медного Всадника», фальконетовского памятника, также, вероятно, навеян Мицкевичем... Что же касается до общей идеоло-

⁷ См.: Браиловский С. Н. «Медный «Всадник». А. С. Пушкин в освещении польского ученого. — «Журнал Министерства Народного Просвещения». 1909, № 3, отд. II, с. 175.

⁸ См.: Жданов И. Н. Пушкин о Петре Великом. СПб., 1900, с. 21.

⁹ См.: Овсяннико-Куликовский Д. Н. Собр. соч. Т. IV. СПб., 1912, с. 83—85.

гической концепции повести, то связывать ее с впечатлениями от чтения Мицкевича можно было бы только в том случае, если бы у нас были данные утверждать, что сюжетная и идеологическая концепции «Медного Всадника» и «Езерского» заведомо были различны. Однако у нас нет этих данных»¹⁰.

Сколько бы ни были внешне разнообразны версии о «скрытом» в поэме замысле Пушкина, когда само произведение воспринимается как «иносказание», способ рассуждений и доказательств почти всегда оставался одинаковым.

Всегда недооценивался конкретный, предметно-событийный состав поэмы, утрачивала свое прямое значение его жизненная достоверность. Образ превращался в некое внешнее средство транспортировки «идеи». При видимой свободе обращения с текстом и кажущейся «широте» его трактовки стремление однажды и навсегда разрешить предложенную поэтом «загадку» приводило к поискам однозначных ответов на вечные вопросы. «Расшифровки» всегда вырастали на мнимой символичности отдельных сцен и деталей. М. О. Гершензон¹¹ предлагал относиться к поэме как к загадочной картинке, где очертания конкретных предметов складываются в некую тайнопись, в символические фигуры, и толковал иносказательность Пушкина в религиозно-мистическом духе. П. Е. Щеголев¹², Б. В. Томашевский¹³ показали методологическую несостоятельность «толковничества», к приемам которого очень широко обращались также и авторы вульгарно-социологических интерпретаций поэмы. По методу принципиальной разницы с гершензоновским прочтением Пушкина здесь не обнаруживалось. «Многострадальный «Медный Всадник» (слова Б. В. Томашевского) на этот раз превращался из повествования о петербургском наводнении в символическую картину гибели деклассированного старинного дворянства под ударами «волн промышленного капитала».

Разительная неадекватность глубины и совершенства пушкинских художественных формул мироздания и всех этих многочисленных попыток критики перевести их на язык абстрактных понятий вызывалась отчасти сложностью задачи, перед

¹⁰ Бонди С. М. «Езерский» и «Медный Всадник». — В кн.: Рукописи Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. Комментарий. М., 1939, с. 45.

¹¹ См.: Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. М., 1919.

¹² См.: Щеголев П. Е. Мудрость Пушкина — «Книга и революция», 1920, № 2, с. 57—60.

¹³ См.: Томашевский Б. В. Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925.

которой критика оказалась. В «Медном Всаднике» отсутствуют обычные жанровые признаки философского повествования, здесь от исследователя требовалось особенно глубокое проникновение в природу художественной мысли. Пушкинская простота и ясность кристаллизовала в каждой детали поэмы поистине громадный опыт предшествовавшей и современной Пушкину духовной культуры. «Синтетизм Пушкина, — писал Б. В. Томашевский о своеобразии образного строя поэмы, — придал конкретным вещам силу абстракции. Конкретные вещи стали орудием исторической мысли. Художественные образы получили убедительность синтетического суждения»¹⁴. Много раз повторявшаяся ошибка критики состояла именно в том, — считал Б. В. Томашевский, — что пушкинский синтетизм, по природе своей очень конкретный, реалистически точный, подменялся несвойственной Пушкину символичностью: «Синтетический стиль поэмы ошибочно был воспринят как символический».

Гениальный автор словно бы покидал читателя на самого себя, предложив его вниманию достоверный случай и всем памятное событие — петербургское наводнение. Но в рассказе о конкретном случае так сочетались конкретные детали, что за ними неожиданно обнаруживались целые пласты истории культуры. К верному прочтению поэмы могло привести только глубокое изучение классического наследия — критике же в те годы еще предстояло выработать верное отношение к этому наследию, понять, в чем состоит актуальность классики.

Ответ на этот вопрос нередко искали не с позиций конкретно-исторических, но с помощью аналогий, иногда прямолинейных. Аналогии же в приложении к поэме чаще всего и вели к взаимоисключающим выводам. В «Медном Всаднике» находили или «художественное выражение русского великодержавного империализма николаевской эпохи, или, напротив, скрытый от цензуры революционный памфлет»¹⁵.

Просчеты известной книги Д. Д. Благого «Социология творчества А. С. Пушкина»¹⁶ не раз отмечались. Сейчас нет необходимости их еще раз констатировать, интересно отметить некоторые из тех методологических особенностей этого труда,

¹⁴ Томашевский Б. В. Пушкин. Книга вторая. Материалы к монографии. М.—Л., 1961, с. 408.

¹⁵ См.: Жирмунский В. По поводу книги «Ритм как диалектика». — «Звезда», 1929, № 8.

¹⁶ См.: Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина. Этюды. М., 1929.

которые и в те годы, и много позднее будут очень широко применяться в исследовании классики. Д. Д. Благой различал в «Медном Всаднике» как бы два пласта содержания, противопоставляя то, что говорил Пушкин в поэме, следуя своему «классовому самоопределению», тому, что «сказалось» в его произведении вопреки установкам и намерениям самого поэта. Пушкин в своих исходных социальных взглядах, — считал Д. Д. Благой, — достаточно консервативен. Может быть, более консервативен, чем его Евгений: он «не останавливается на смирении перед общепринятым порядком и необходимостью, но и примиряется с ними»¹⁷. Объективное же значение поэмы — шире, она представляет собой картину «социальной борьбы деклассированного русского дворянства с самодержавием, борьбы, одним из ярких эпизодов которой, происшедших на глазах Пушкина, и было движение декабристов»¹⁸. Придя в смысле политическом к «примирению» с существующим порядком, в творчестве своем Пушкин изобразил эпоху более полно. Он не мыслил своего времени вне декабристов и не мог не отразить в своем программном произведении хотя бы какого-то намека на декабристское восстание. Перед нами тот способ противопоставления «мировоззрения» и «творчества», к которому не раз обратится критика и позднее, тот метод исследования классики, когда роль сознательного, идейного начала в произведении заметно снижалась.

Исходя из априорно принятой задачи найти в поэме отзвук декабристского восстания, Д. Благой предлагал снова один из методов «дешифровки». Пушкин назвал в примечании наводнение «происшествием». Но в официальных документах этим же словом называли восстание, желая придать ему возможно меньшее значение. Употребив в применении к наводнению слово «происшествие», Пушкин, считал Д. Благой, намекал именно на восстание. Казалось бы, исследователь «усиливал» актуальность поэмы, в действительности же пушкинская мысль даже не становилась предметом его анализа.

Противопоставление «мировоззрения» и «творчества» как неравноценных величин находим и у А. В. Луначарского. Его суждения о «Медном Всаднике», в которых сегодня многое кажется неприемлемым, в последнее время приписывали даже влиянию концепции Д. Д. Благого¹⁹. Иногда указывали на

¹⁷ Там же, с. 278.

¹⁸ Там же, с. 307.

¹⁹ Такова точка зрения В. Б. Сандомирской (см. в кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения, с. 403).

его ошибки как образец вульгарного социологизма²⁰. И то, и другое вряд ли можно признать верным. Система взглядов А. В. Луначарского на классическое наследие, как и его оценка пушкинской поэмы, — явление, конечно, во многом противостоявшее как раз именно социологизаторским ревизиям ценностей прошлого. Вряд ли надо напоминать, что А. В. Луначарский отстаивал идею преемственной связи с культурой прошлого и находил для этого много плодотворных решений.

Мысль А. В. Луначарского, что в своей «гениальной поэме» Пушкин «поднимается до гегелевской постановки вопроса» о противоречиях истории, содержит в себе целую программу исследований. Однако А. В. Луначарский исходил из ошибочного тезиса о несоответствии объективного смысла поэмы авторскому замыслу. Этот тезис позволял отделять конкретное содержание поэмы от скрытой за ним «идеи». Закреплялся особый род недоверия к тексту, недоверия, как бы теоретически обоснованного и оправданного.

Идея всемерного приближения пушкинского наследия к новому читателю заметно обеднялась неперменным условием «перевода» произведения на язык современных идей и понятий — ведь автор говорил в своей поэме часто совсем не то, что она выражала «помимо авторской воли».

Так в «Медном Всаднике» Пушкин, по мнению А. В. Луначарского, примирился с самодержавием, «окончательно оформил самодержавие как действительность», и его «гениальная поэма явилась самым высоким достижением на фальшивом пути признания не только физически раздавливающей силы самодержавия, но его моральной значимости»²¹. Однако вопреки воле автора, «формула» исторических противоречий, содержащаяся в поэме, далеко вышла за пределы его умеренного замысла. Читателю, — считает критик, — «стоит только подставить подлинные величины под пушкинские мнимые — и вся формула станет правильной». А. В. Луначарский так завершает свою оценку пушкинской «формулы»: «Пушкин дал возможность... вложить в нее новое содержание и сделать ее живой»²². Теория «вложения» нового содержания в классиче-

²⁰ См.: *Макогоненко Г. П.* Творчество А. С. Пушкина в 1930-е годы, с. 321.

²¹ *Луначарский А. В.* Собр. соч. в 8-ми тт. Т. I. М., 1963, с. 68. Статья написана в качестве предисловия к Полному собранию сочинений А. С. Пушкина в шести томах. (Ред. Д. Бедного, А. В. Луначарского и др.), выходящему в 1930—1931 годах в приложении к журн. «Красная Нива».

²² Там же, с. 69—70.

ские сюжеты являлась, конечно, одной из форм освоения прошлого, но в ней имелись и принципиальные отступления от конкретного историзма, которые не могли не сказаться на полноте восприятия классики.

К середине тридцатых годов все чаще высказывались возражения против недооценки конкретно-исторического содержания гуманизма Пушкина. Показательна в этом отношении, например, статья В. Александрова «Медный Всадник» (К спорам о значении Пушкина)²³. Начало этой статьи все еще традиционно: автор считает своей задачей рассмотреть, «в каком отношении стоят друг к другу в петербургской повести Пушкина консервативные мотивы пушкинской философии истории и реализм пушкинского художественного творчества». Однако примечательно, что конкретный анализ самой поэмы, вне априорных рассуждений о «консервативных мотивах», вполне убедительно показывал, что гуманистическое содержание «Медного Всадника» само по себе настолько значительно, что не нуждается ни в каких современных коррективах или «вложениях». Выражая несогласие со статьей А. В. Луначарского, В. Александров предлагал понять значение гуманизма и историзма Пушкина прежде всего в связи с теми проблемами, которые перед поэтом выдвигало его время, и именно от этой точки зрения идти к современной оценке поэмы. Тогда прояснится подлинный смысл произведения: «Пушкинская поэма — не апофеоз самодержавия, истукана, окаменевшей силы. Скорбь о погибшем безумце остается; но это не протест против истории во имя какой-то абстрактной жалости к погибающим; пушкинский гуманизм конкретен; у этой скорби — большая историческая правда и именно поэтому — подлинная человечность»²⁴. Эти слова и после совсем недавно прошедших споров о «Медном Всаднике» звучат актуально.

Сравнение критических статей 20-х—30-х годов с работами 50-х показывает, как менялись общие вопросы, обращенные к пушкинской поэме. В 20-е годы решающее значение имел вопрос об отношении Пушкина к революции. Тогда А. В. Луначарскому важнее всего было объяснить, почему у Пушкина начало «оппозиционное, начало антисамодержавное» отождествлено в поэме «с обывательщиной, с кругом хотя бы и го-

²³ См.: Александров В. «Медный Всадник» (К спорам о значении Пушкина). — «Литературный критик», 1936, № 10.

²⁴ Там же, с. 69.

рячих, но совершенно интимных чувств»²⁵. Позднее яснее становился патриотический пафос поэмы, по-новому и более глубоко понималась тема русской государственности. Интерес к поэме менялся соответственно тому, как менялся, например, интерес к прошлому в советской исторической романистике, — от родословной революции она переходила к освоению темы славных традиций прошлого. Такая перемена запрашивающих интересов, обращенных к поэме, определялась временем. От конца тридцатых годов и через все пятидесятые проходит в критической литературе о поэме тема Петра-героя, неколебимости России, патриотических традиций и национальной славы. Никогда раньше эта сторона пушкинского произведения не имела такого полного исторического звучания.

Так оформилась концепция, получившая позднее, у участников последней дискуссии о «Медном Всаднике», условное название «государственной». Патриотические ноты пушкинской поэмы зазвучали сильнее под воздействием опыта истории. И в целом возросший интерес к позитивному содержанию пушкинской философии мира и человека укрепился также отнюдь не по случайному выбору отдельных критиков. Однако именно в пятидесятые годы известные явления идеологической жизни породили в некоторых статьях и работах о Пушкине одностороннее истолкование поэмы. Можно говорить о некоем стереотипе рассуждений о великой личности и государстве, повторявшемся во многих статьях о «Медном Всаднике». Когда в пушкинском Петре видели только героя, отважно ведущего за собой и труд, и мысль своего поколения, когда полагали, что Пушкин, стремясь придать своему герою монументальную целостность и монолитность, строит исторический образ не на раскрытии противоречий, а лишь на могучей творческой энергии петровского характера — истина подавалась односторонне. Уничтожался драматизм поэмы, а вместе с ним существенно искажалось и все движение пушкинской мысли. Соответственно возвеличению Петра происходило и отрицание самостоятельной человеческой значимости Евгения. Его нельзя назвать носителем новаторских идей, он не был ни мыслителем, ни строителем, ни борцом. Как личность мелкая, Евгений лишался нравственного права на бунт: против зодчего, полного великих дум, выступал жалкий одиночка, обуреваемый самыми мелкими желаниями. Такого рода рассуждения становились

²⁵ Луначарский А. В. Собр. соч. в 8-ми тт. Т. I, с. 69.

тем «общим местом» в статьях о поэме, тем методом, у которого нет «автора».

Нельзя не заметить, что не только явные упрощения смысла поэмы, подобные приведенным, но даже и не сопровождавшееся отступлениями от текста стремление видеть в «Медном Всаднике» готовый ответ на вечные вопросы истории неизменно приводило к досадному выпрямлению пушкинской мысли и к выводам односторонним. Исследователи находили у Пушкина утверждение статического покоя, однозначный позитивный ответ на все трагические вопросы, единовременное разрешение великого спора Петра и Евгения. «Жить и действовать во имя «общего», а не во имя «частного», идти путями Петра, а не путями Евгения — к этому призывает поэт всех тех, кто хочет, чтобы их жизнь не прошла «как сон пустой», имела длительное историческое значение»²⁶, — писал Д. Д. Благой в новой книге о Пушкине.

Наталикаясь в своем анализе поэмы на противоречия, в которых поэт впервые увидел не источник «зла», а всеобщий закон истории, исследователь ищет способы объяснения пушкинского исторического оптимизма. Но предложенное Д. Благом толкование внутреннего единства поэмы кажется компромиссным. Исследователь считает, что следует отличать сердечные пристрастия поэта от строгих советов его же разума: сердцем гуманиста Пушкин откликался на страдания Евгения, «но разумом художника-мыслителя» признавал законность торжества «общего» над «частным»²⁷. Вряд ли эта формулировка принадлежит к наиболее удачным определениям «удивительно мужественного» (Белинский) таланта Пушкина.

Ссылки на Белинского в подтверждение неоспоримости превосходства «героя» над «частной личностью» стали в 50-е годы едва ли не общепринятым аргументом, но из отзыва Белинского о поэме бралась лишь «крылатая фраза», не только утратившая свой первоначальный смысл, но и приобретающая значение, едва ли не прямо противоположное тому, какое имела она в контексте его статей о Пушкине.

В последней дискуссии о «Медном Всаднике» — она была начата в 1958 году и продолжена несколькими статьями в начале 60-х — издержки и крайности «государственной» концепции поэмы подверглись справедливой критике. Г. П. Макогоненко убедительно показал полное несоответствие такого про-

²⁶ Благой Д. Д. Мастерство Пушкина. М., 1955, с. 222.

²⁷ Там же, с. 220.

чтения поэмы, когда даже в гибели Евгения видели разумную историческую необходимость, — общему идейному направлению и гуманистическому духу творчества Пушкина²⁸. Критическая аргументация, выдвигавшаяся участниками дискуссии (Г. Макогоненко, П. Мезенцевым, М. Харлапом и др.), в основном одинакова²⁹. Публицистическое свое выражение та же аргументация нашла в статье писателя Д. Гранина³⁰. Ценность человека в любом звании, право его на свободу, гуманистический показатель исторического прогресса, — вот те пушкинские темы, на решении которых теперь было сосредоточено внимание критиков. Прояснилась несостоятельность такого прочтения «Медного Всадника», когда историзм Пушкина превращался в оправдание «разумной действительности», возбуждалось внимание к драматической основе поэмы, а вместе с ним и к законам движения пушкинской мысли.

Дискуссия о «Медном Всаднике» была тем более своевременной, что многие из выдвинутых в ней идей соответствовали и отвечали новому читательскому восприятию поэмы. С поражающей очевидностью вновь открылась многозначность образов великого пушкинского создания. «Петербургская повесть» предстала своеобразным неиссякающим источником идей, на дне которого, по удачному замечанию П. Антокольского, всегда «остается нечто неразложимое»³¹. Все это побуждало еще раз проверить справедливость прежних суждений о «Медном Всаднике», найти наиболее верный ориентир в пестроте высказываний о поэме, в разноречивости оценок ее. Возникла необходимость снова обратиться к, казалось бы, уже давно проясненному вопросу — в чем же состоит объективный критерий оценки произведения?

Поиски такого критерия тем более важны, что далеко не все в позитивной части выступлений сторонников нового, «гу-

²⁸ См. рецензию Г. П. Макогоненко на книгу Г. А. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (М., 1957) (Макогоненко Г. Исследование о реализме Пушкина. — «Вопросы литературы», 1958, № 8); те же аргументы в более развернутом виде представлены в книге Г. П. Макогоненко (Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы, с. 321—325).

²⁹ См. статьи: Мезенцев П. Поэма Пушкина «Медный Всадник» (к вопросу об идейном содержании). — «Русская литература», 1958, № 2, с. 57—68. Харлап М. О «Медном Всаднике» Пушкина. — «Вопросы литературы», 1961, № 7, с. 87—101.

³⁰ См.: Гранин Д. Два лика (Заметки писателя). — «Новый мир», 1968, № 3.

³¹ Антокольский П. О Пушкине. М., 1960, с. 54.

манистического» прочтения «Медного Всадника» представляется вполне обоснованным и верным.

Прежде всего, возникает вопрос о правомерности самого противопоставления «государственной» и «гуманистической» концепций поэмы. Какие бы скидки на терминологическую условность таких разграничений ни делались, — так или иначе идея прав личности противопоставляется здесь идее исторической необходимости дела Петра. Но вся сложность поэмы, — как это замечали многие критики и наиболее глубоко Белинский, — как раз и состояла именно в соединении двух этих начал — человека и государства. Не может быть полноценно «гуманистическое» толкование поэмы вне идей государственности.

В критике уже высказывались справедливые замечания по поводу некоторых аргументов сторонников «гуманистической» концепции»³². Итоги начатой Г. П. Макогоненко дискуссии, нужной и полезной в критическом ее пафосе, оказались не столь плодотворны в конструктивной части. В последней книге о творчестве Пушкина 30-х годов Г. П. Макогоненко пишет о «новом, сегодняшнем этапе изучения пушкинской поэмы» как о «медленном возвращении к гуманистической концепции Брюсова»³³ и окончательном освобождении от влияния Белинского. Но задача, стоящая перед критикой, кажется, состоит вовсе не в выборе между Белинским и Брюсовым — история изучения поэмы не дает оснований для их противопоставления. Важно не само по себе притягательное слово «гуманизм», но конкретное содержание, которым оно наполняется. Критика всегда имела целью своих разысканий пушкинский гуманизм, но как различно было его понимание! Выступая против «анти-исторической идеализации самодержавия Петра и императивного превращения Пушкина из великого гуманиста и защитника прав человека в певца сильной государственной власти»³⁴, Г. П. Макогоненко безусловно прав. Но к защитникам «государственной» концепции поэмы он причисляет и авторов, чья позиция вовсе не сводилась к идеализации сильной власти и содержала немало плодотворных идей. Вместе с тем в признании неопровержимости собственных доводов как единственно верной точки зрения на пушкинскую поэму Г. П. Мако-

³² См.: Гуревич А. М. К спорам о «Медном Всаднике». — «Научные доклады высшей школы. Филологические науки», 1963, № 1, с. 135—139.

³³ Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы, с. 326.

³⁴ Там же, с. 324.

гоненко сам никак не менее императивен, чем опровергаемые им «государственники».

Критика монографии Г. А. Гуковского, составляющая важную часть развертываемой Г. П. Макогоненко концепции, не представляется до конца убедительной. Система рассуждений Г. А. Гуковского, в сущности, никак не укладывается в рамки критикуемой Г. П. Макогоненко теории. На первый взгляд, вывод Г. А. Гуковского об идее «Медного Всадника» действительно антигуманистичен: «Частные цели и индивидуальное счастье Евгения при столкновении с целями поступательного хода государственности должны уступить, должны быть принесены в жертву. Таков закон иерархии бытия, и этот закон благ»³⁵. Однако этот вывод далеко не исчерпывает сути размышлений Г. А. Гуковского о поэме, его исследовательского пафоса, потому и сожаления Г. П. Макогоненко по поводу того, что в талантливой и новаторской книге Г. А. Гуковского высказано «обидно несправедливое мнение о поэме», во многом теряют свой смысл. Имеется существенная разница между взглядами Г. А. Гуковского в системе изложения их в его книге и тем образом опровергаемого предшественника, который создан Г. П. Макогоненко, так сказать, в рабочем порядке, в ходе полемики. Это «несоответствие» имеет принципиальное значение, и на нем следует остановиться подробнее, тем более, что речь идет не только о том, в какой мере верны суждения именно о данной книге.

Приведенная из книги Г. А. Гуковского цитата как будто и дает повод считать, что проблемы гуманизма не занимали его внимания, однако на самом деле в книге предложена строго изложенная концепция пушкинского гуманизма. Кстати, концепция, совершенно неотрывная от общих проблем движения Пушкина от романтизма к реализму, как понимал это движение исследователь. Личность, — писал Г. А. Гуковский, — «вполне ощутительно испытывает тяжкое давление реального проявления закона, вознесенного над нею как сила, чуждая ее личных целей». Закон «государственной необходимости» отнюдь не провозглашался автором критикуемой Г. П. Макогоненко книги как воплощение абсолютного разума и справедливости, ведь этот же закон «привел к гибели Параша, крушению личной жизни Евгения», «государство проехало своей триумфальной колесницей через живую

³⁵ Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 402.

душу человека». Как видим, проблема гуманизма занимала Г. А. Гуковского никак не меньше, чем сторонников так называемой «гуманистической» концепции поэмы. Существенное отличие системы рассуждений Г. А. Гуковского от взгляда на поэму его оппонента состоит в том, что Г. А. Гуковский последовательно связывал проблемы гуманизма с идеей исторической необходимости, — именно это противостояние права человека и правды истории и занимало особенно мысль Пушкина в 30-е годы. Находя в анализе Г. А. Гуковского проблему исторической необходимости, Г. П. Макогоненко спешит показать «оборотную сторону медали» и напоминает, что «необходимость» реально выступала как институт русского государства XVIII—XIX веков, являвшегося империей, — но кто же серьезно может считать, что этого не знал или забыл Г. А. Гуковский? Он писал именно о трагическом конфликте Евгения «с русской государственностью данного социально-политического формирования». Именно Евгения Г. А. Гуковский считал главным героем поэмы, причем героем трагическим. Трагедийна, по Г. А. Гуковскому, и участь «самого государства как оно предстало оку Пушкина». Трагедийна потому, что «на развалинах счастья Евгения» утверждается вовсе не высокий идеал, именем которого Евгений был уничтожен — «устойчива оказалась пошлая реальность». Произошла, по мнению ученого, трагедия превращения исторически значительного в морально ничтожное. Мы можем не согласиться с тем, что в поэме Пушкина происходят подобные превращения. Кажется, поэма не дает оснований считать названное именем «державного» обернувшимся «пошлой реальностью». Можем не согласиться с Г. А. Гуковским и в том, что преобладающим в «Медном Всаднике» настроением было «отрицание сущего»³⁶, но для вывода, что в изложении Г. А. Гуковского поэма предстает как апофеоз «сильной государственной власти», нет решительно никаких оснований.

Генеалогия концепции Г. А. Гуковского Г. П. Макогоненко ведет от «государственника» Белинского, введенного в заблуждение привнесениями Жуковского в текст пушкинской поэмы. Между тем в своей трактовке образа Евгения Г. А. Гуковский — и вполне закономерно! — ссылался не на что иное, как на «прекрасную статью Брюсова», — так что у Г. П. Макогоненко, обратившегося с призывом вспомнить неспра-

³⁶ Там же, с. 403—411.

ведливо забытую работу, был, оказывается, в этих ретроспекциях предшественник, и не кто иной, как Г. А. Гуковский.

Можно прийти к выводу, что для справедливой критики разбираемой им теории Г. П. Макогоненко неудачно выбрал пример. Но на самом деле работа Г. А. Гуковского действительно в наибольшей мере противостоит суждениям Г. П. Макогоненко, однако, противостоит не как отрицание гуманизма, а как иное его понимание. В рассмотрении «Медного Всадника», как уже отмечалось, Г. А. Гуковским проводилась и доказывалась та же мысль, которая лежала в основе предложенной ученым концепции развития реалистического художественного метода у Пушкина. В этой концепции заметное место принадлежало проблемам зависимости личности от объективных закономерностей истории, признанию идей исторической необходимости, противоречивых и даже трагических путей прогресса, — проблемам, действительно имевшим важное значение в поэме.

В идее исторической необходимости было начало всех размышлений Пушкина о праве и долге личности. Г. П. Макогоненко же главным образом понимает гуманизм как право борьбы человека против сковывающих его свободу обстоятельств, в том числе — против исторической необходимости. Такую ситуацию не исключает и пушкинская поэма, но в целом «Медный Всадник» характеризуется, пожалуй, в большей мере не коллизией разрыва ранее сложившихся отношений, не ситуацией их слома, хотя возможность такого слома и не отрицается поэтом, сколько широким охватом противоречивого многообразия отношений необходимости и свободы, права и долга, созидания и разрушения, героической славы и трагедии, дерзания и терпения, бессмертия и безвестности. Причем перспектива и того, и другого в равной мере открыта перед каждым из двух лиц поэмы — и перед Петром, и перед Евгением.

Вместо этой многомерности сюжета поэмы у Г. П. Макогоненко предстает одна линия развития событий, направленная исследователем к таким общим перспективам революционной борьбы, которых в сюжете пушкинской поэмы нет. Начав с момента потрясения, пережитого «бедным Евгением», Г. П. Макогоненко перечисляет далее все состояния, ведущие его к осознанной революционной борьбе. Причем перед нами предстает уже не развитие реального сюжета поэмы, а логика рассуждений самого исследователя, последовательно рассматривающего ситуацию пробуждения революционного созна-

ния вообще. Поэма присутствует в таком построении доказательств (теряющих именно свою доказательность) в качестве произвольно взятой суммы примеров. Здесь аргументация произвольна. Мы читаем, что у Евгения «вызревает... новый вид «безумия» — способность к бунту», что он уже «не мог вернуться в привычный мир «частной жизни», что от «скромных и обыденных дум» он перешел к «ужасным думам», что Евгению «открылась тайна» — в сознании его «родилась капитальная мысль о бесчеловечии самодержавия» и что «рубежом и границей между старой и новой жизнью героя» явилась «ненависть и жажда мести». Евгений под пером исследователя изменяется, как говорят, до неузнаваемости — он «уже не смиренный раб, но всепонимающий судия, человек, почувствовавший себя способным бросить вызов и осудить самодержца». Произошло «высвобождение из-под бытового облика смиренного и покорного чиновника духовно богатой личности, живущей интенсивно в мире всеобщего»³⁷. «Да может ли это быть? Да о том ли писал Пушкин?» — такое обращение к читателю, сделанное в свое время Г. П. Макогоненко по поводу книги его предшественника, мы, пожалуй, вправе обратить теперь и к нему самому. Ведь никаких оснований для приведенного прочтения пути Евгения поэма не дает.

Справедливо замечено, что радикализация воззрений Пушкина неизменно приводит к результату, на первый взгляд неожиданному, но в действительности вполне закономерному — «к приглушению гуманистического пафоса его произведений»³⁸. То же происходит и в данном случае.

Анализ поэмы завершается Г. П. Макогоненко в соответствии со старой теорией «вложений» в классический сюжет уточняющих его дополнений: «Угроза Евгения испугала Медного Всадника и заставила его, «впервые» в истории, сорваться с гранитной скалы, чтобы преследовать мятежника. И сделано это было потому, что угроза Евгения звучала приговором истории. И мы-то знаем, что приговор был приведен в исполнение»³⁹. Все это — как будто и о поэме, но вместе с тем — и не о ней, скорее по поводу нее.

³⁷ Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы, с. 348—359.

³⁸ Гуревич А. М. К спорам о «Медном Всаднике». — «Научные доклады высшей школы. Филологические науки», 1963, № 1, с. 138.

³⁹ Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы, с. 369.

Метод исследователя основывается на априорных логических конструкциях, способ их построений уже указывался в исследованиях методологии литературоведения⁴⁰.

Начав с высказывания Пушкина, что «цель искусства есть идеал», Г. П. Макогоненко логически выстраивает цепь рассуждений, призванных показать, что же составляло идеал Пушкина. Далее следует ряд априорных логических умозрений. Стремление к идеалу есть отрицание копии. Следовательно, Пушкин не удовлетворялся констатацией бедственного положения человека, а искал его причины. Объективно выход для страдающей и угнетенной личности был только в борьбе. Следовательно, Пушкин шел к решению этой темы. Реалистическое изображение угнетенных само подводит писателя к определенной оценке их положения, реализм «способен выносить приговор данному социальному строю». Следовательно, Пушкин как реалист стоял перед той же задачей. Далее мотив борьбы за свободу развивается при помощи подбора соответствующих цитат и примеров. Тезис о революционизирующей роли искусства поддерживается напоминанием о «глаголе», призванном жечь сердца, и подкрепляется цитатой из письма Чаадаева Пушкину (март—апрель 1829 г.), где он призывал поэта быть достойным своего великого призвания. При этом совсем не принимается во внимание то, что Чаадаев здесь, напоминая поэту об исполнении его долга, вовсе не имел в виду, как следует из общего содержания обращенных к поэту призывов, революционных целей. Но Г. П. Макогоненко увлекает слово «тайна», употребленное Чаадаевым. «Тайны века», — писал Чаадаев. Он желал посвятить Пушкина в свое философское осмысление тревожных событий в Европе и России, в занимавшие его тогда провиденциальные исторические теории. Но у Г. П. Макогоненко своя логическая задача, и он считает необходимым напомнить, что о тайных мыслях, зреющих в России, думал и Герцен. В развитии темы «тайн века» действующих лиц, естественно, может быть названо много. Пушкин с его Евгением оказывается лишь начальным звеном возрастающей прогрессии, в конце которой «тайна» стала революционной явью. Но это уже рассказ о развитии революционных идей в России. Г. П. Макогоненко трактует произведение Пушкина 30-х годов так, словно бы в нем отразилась революционная ситуация, близкая к своему разрешению, а

⁴⁰ См., напр.: Бушмин А. С. Методологические вопросы литературоведческих исследований. Л., 1969, с. 118—137.

Пушкин провозгласил возможность, открывшуюся угнетенному человеку, — «в протесте, мятеже реализовать свою личность в ее подлинном величии»⁴¹. Но дело обстояло иначе, и следует по достоинству оценить те открытия художественного историзма, какие были Пушкиным в «Медном Всаднике» действительно совершены.

В истории изучения поэмы попыток интенсификации пушкинского сюжета было много. И всякий раз, когда публика и критика переживают известное разочарование в теориях, казавшихся еще недавно такими стройными, когда наступает разуверение, становится особенно ясно, как неразделимы у Пушкина величие и простота. Простота несет в себе разные идеи и выступает в разных обликах — у Пушкина в «Медном Всаднике» кажется наиболее полно представлено такое свойство «простого» как универсальность связей и переходов — признак живой ткани истории. «Сила вещей» выступала перед протестующей личностью в его поэме не только как могущество враждебных обстоятельств, но и как выражение объективных закономерностей развития. Гибель Евгения уже по одному тому, что она была осмыслена как трагедия, несла в себе высокий идеал Человека. Этот идеал стал для Пушкина гуманистическим показателем исторического прогресса. Однако абсолют Человека не превращался у него в осуждение «неразумной» истории. Пушкин знал, что история никогда не остается в долгу у самой себя. Высота человеческого из просветительской нормы или романтического идеала становилась сегодняшней, развивающейся конкретно-исторической истиной. Гибелью Евгения истории предъявлялось обвинение, но истории же принадлежало и само обвинение.

В свое время Н. Л. Бродский намечал конкретно-историческую перспективу изучения пушкинской философии истории, предлагая идти к «Медному Всаднику» от общих проблем, как они формулировались в 30-х годах XIX в. «Пушкин схватил в своей поэме, — писал он, — центральную тему русского общественного движения XIX в. и по-гегелевски ее разрешил, — признав в диалектике социальной действительности наряду с исторической закономерностью существующего и право на отрицание»⁴². Такую постановку вопроса нельзя не признать и теперь плодотворной.

⁴¹ Макогоненко Г. Л. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы, с. 284, 275—284.

⁴² Бродский Н. Л. А. С. Пушкин. Биография. М., 1937, с. 784.

Интересно проследить, как складывалось определение обшей идеи поэмы у Б. В. Томашевского. Принимая во внимание специфику художественного историзма, он всегда стремился рассмотреть «мировоззрение» Пушкина в конкретных слагаемых самого его «творчества». Область наблюдений ученого — структура всего мировосприятия поэта, проникнутая сознанием изменяемости мира во времени, интересом к законам этого изменения как принципу понимания мира и человека. Понятие «художественный историзм» включало поэтому у Б. В. Томашевского, например, жанровую природу произведения — он считал, что художник не выбирает жанр, а заново его открывает, находя, в известном смысле, в этом жанровом новаторстве самого себя, свою точку зрения на историю и личность.

Б. В. Томашевский указал на верный исходный принцип для определения идеи «Медного Всадника». Он стремился возможно точнее угадать самый момент зарождения мысли Пушкина и пришел к выводу, что в работе над поэмой не герой ее, Евгений, «предлагал» автору найти соответствующее его положению описание быта, а, напротив, изменения в условиях жизни, новые сдвиги в быту и общественных отношениях, необычные исторические обстоятельства, привлекавшие внимание поэта, «предложили» Пушкину нового героя — «выбор героя определился обзором исторического хода вещей». «Не выбор героя дал Пушкину его родословную, — пояснял свою мысль Б. В. Томашевский, — а наоборот, эта родословная заставила его остановиться на деклассированном дворянине — мелком чиновнике»⁴³. Но, явившись следствием изучения «хода вещей», герой поэмы уже и сам начал оказывать влияние на авторскую точку зрения. Пушкин всматривается в жизнь глазами Евгения, как бы приближает к читателю его боль и страдание, а, тем самым, складываются и новые темы в пушкинском философском размышлении о судьбе рядового человека в истории.

Однако, начав с этого верного определения гуманистических истоков пушкинского историзма, Б. В. Томашевский не сразу пришел к своим окончательным формулировкам. Первоначально, сравнивая изображение Петербурга в поэме с обликом города и восприятием его в лирических стихотворениях Пушкина, Б. В. Томашевский считал, что в поэме «город

⁴³ Томашевский Б. В. Петербург в творчестве Пушкина. — В кн.: Пушкинский Петербург, 1949, с. 37.

дан в историческом, а не в личном восприятии». «Историческое сверхлично, — замечал исследователь, — отсюда исходило такое определение идеи «Медного Всадника»: «Личная судьба подчиняется сверхличной справедливости истории народа. Над лично трагическим возвышаются исторические судьбы страны»⁴⁴. Историческая справедливость теснила у Б. В. Томашевского право личности. О Евгении тогда он писал: «Его бунт против Петра был бессильной вспышкой и привел его через безумие к смерти. Но личная гибель, личная жертва, не колеблют высшей исторической справедливости, победоносного хода вперед государственного корабля, навстречу новым испытаниям, новым бурям, новым жертвам»⁴⁵. Протест Евгения неизбежен и вызван горестными обстоятельствами его судьбы, но он безумен, обречен, между тем как ход государственного корабля не остановим и освящен высшей справедливостью, — таково разъяснение пушкинского ответа на поставленные историей вопросы. Вместе с тем придя к выводу о господстве «сверхличного» над индивидуальным, Б. В. Томашевский, видимо, все же не вполне удовлетворялся таким определением идеи поэмы. Он давал весьма характерное дополнение к своему пояснению пушкинской формулы исторического прогресса: «Но Пушкину было чуждо бесстрашие летописца. К своим историческим разысканиям он относился страстно, остро чувствуя, где добро и где зло»⁴⁶. Без подобной поправки «сверхличное» казалось ученому слишком уж рассудочно холодным и чуждым духу пушкинского гуманизма. Между тем противопоставление «сверхличного» Петра «личной» и, следовательно, менее значительной судьбе Евгения, было широко принятой точкой зрения⁴⁷.

В материалах к незавершенной монографии о Пушкине, над которой Б. В. Томашевский работал вплоть до 1957 года, мы найдем уже иную постановку того же вопроса. Здесь историческая необходимость понимается не как сверхличная истина, но прежде всего как открытый Пушкиным метод конкретно-исторического подхода к сложнейшим вопросам бытия. Необходимость — далеко не только сила враждебных человеку обстоятельств, подавляющая сила «общего», — как необходимость понять и протест Евгения. Исторически необ-

⁴⁴ Там же, с. 38.

⁴⁵ Там же, с. 39—40.

⁴⁶ Там же, с. 40.

⁴⁷ См.: История русской литературы, т. VI. М.—Л., 1953, с. 276.

ходимо укрепление русского государства, оплота национальной самостоятельности, но, одновременно, и средоточия трагических противоречий. Взаимосвязь этих разнонаправленных сил как целостной системы действительности лежит в основе поэмы. Так формулируется исследователем центральная проблема «Медного Всадника»: «Судьба неизбежно, но и неповинно гибнущего человека, хотя бы и ничтожного, перед торжествующим ходом истории государства — вот трагический узел поэмы Пушкина»⁴⁸. В этой формулировке каждое слово очень точно. Именно «трагический узел» — уже самое обозначение неизбежных исторических противоречий, разгадка «механизма» их действия, принципиальный отказ Пушкина от позитивных разрешений вопроса, там, где его не решила история, — вот что составляло существеннейшую особенность совершенного поэтом открытия. Так пролагался исследователем путь от попыток обосновать пушкинский исторический оптимизм какой-либо одной позитивной идеей — к выводу о том, что пушкинское утверждение состояло прежде всего в самом его методе рассмотрения истории. Позитивный итог раздумий поэта состоял в обретении новой точки зрения на историю. Пушкин судил о ней по законам, из самой истории извлеченным.

Перед необходимостью проникновения в эти художественно-философские принципы миропонимания Пушкина стоит литературоведение и сегодня. «Назрела задача синтетического исследования художественной системы Пушкина как целостного единства», — так обозначает эту проблему Б. С. Мейлах⁴⁹. И, думается, подводя некоторые итоги, Б. С. Мейлах слишком категоричен в своем выводе об отсутствии достаточно выверенного примера и опыта подобного мировоззренчески широкого подхода к Пушкину. Вряд ли, например, можно принять его замечание, что «нет объединяющей «генеральной идеи» даже в ценнейшем труде Б. В. Томашевского»⁵⁰. Такая идея есть. И дело не только в том, насколько удачна и точна общая оценка этого труда, — хотя извлечение уроков из него вовсе не представляется задачей вчерашнего дня. Важно обратить внимание и на тенденцию более общую. До сих пор в литературе о поэме, то исчезая, то появляясь вновь, продол-

⁴⁸ Томашевский Б. В. Пушкин. Книга вторая. Материалы к монографии. 1961, с. 523.

⁴⁹ Мейлах Б. С. Талисман. Книга о Пушкине. М., 1974, с. 359.

⁵⁰ Там же, с. 359.

жало существовать убеждение, что вообще возможно единовременное прочтение поэмы, такое исчерпывающее суждение о ней, когда прекратятся, наконец, все споры о «Медном Всаднике». Мысль, что поэма по природе своей не может не принимать в разные исторические эпохи разных идейных значений, была усвоена не сразу. Б. В. Томашевский предложил одно из наиболее убедительных обоснований этого явления. Сетования на множественность точек зрения и даже пестроту суждений о «Медном Всаднике» — пусть и вполне понятные — вряд ли должны принимать форму упрека пушкинистам, надолго «застрявшим на подступах к великому созданию», как писал Г. П. Макогоненко. Вряд ли может быть принята и выраженная им же ироническая неудовлетворенность «последним словом науки о Пушкине», если эта наука предлагает смотреть на поэму не как на готовый ответ, но прежде всего как на исторически верно поставленный вопрос⁵¹.

Ю. Н. Тынянов одним из первых подошел к противоречивости критического истолкования произведений Пушкина как к научной проблеме. Он писал: «Любое литературное поколение либо борется с Пушкиным, либо зачисляет его в свои ряды по какому-либо одному признаку, либо, наконец, пройдя вначале первый этап, кончает последним»⁵². Помимо причин общих — исторических и социально-психологических — Ю. Н. Тынянов считал, что для таких разночтений Пушкина есть еще и «особые основы... в самом его творчестве». Исследователи замечали, что произведения Пушкина в своем составе содержат не один, а одновременно несколько вариантов решения развиваемой поэтом темы. Один сюжет при всей точности обоснования каждого из его звеньев предлагает в решающих его поворотах как бы несколько свободных мотиваций и направлений, для каждого из которых текст дает несколько одинаково возможных оценок. Так и в «Медном Всаднике». Поэма дает едва ли не абсолютно полное исследование самой проблемы исторических противоречий, не только определенное явление, но и генеалогию его, и перспективы его развития. Изображенное в поэме событие в настоящем виде его заключает в себе поэтому множество тенденций, и ни од-

⁵¹ См. критические замечания Г. П. Макогоненко о работах И. М. Тойбина и Е. А. Маймина. (Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы, с. 208, 326).

⁵² Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969, с. 122. Впервые эта мысль была высказана Ю. Н. Тыняновым в 1929 г. (См.: Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929, с. 228).

на из них у Пушкина не преобладает над другой. Строгая точность конкретного сюжета здесь не исключает, а именно предполагает множество разных его линий внутри одного направления мысли. Содержит в себе как бы совокупность вариантов, в общем составе своем исчерпывающих ситуацию противоречивых отношений великого и рядового человека.

Принцип композиции поэмы выражает не констатацию каких-либо конечных положений и выводов, а переходность явлений и качеств, бесконечность развития. Петр истинно великий герой перед «ничтожно» малым и, одновременно, этот же великий в поэме «ужасен» в безразличии к невинно гибнущему человеку. Текст дает основание для выбора, — что много раз и подтверждала критика — как одного, так и второго варианта, хотя каждое такое толкование и будет заведомо односторонним. Необходимость и свобода, право свободы и налагаемый ею долг не персонифицированы здесь в разных лицах, а развиты поэтом как ситуации переходные и возобновляющиеся. Потому и предпочтение автора отдано не кому-то из героев, а полноте самой проблемы.

Поэма содержит всеобъемлющую формулу исторического движения, ей, как и в целом творчеству Пушкина, свойственна «вариантность как выражение целеустремленных поисков наиболее верных творческих решений». Вариантность проявляется, как верно заметил Б. С. Мейлах, «и в трактовке характеров и выборе таких ракурсов изображения, при которых даже самые скрытые черты психологии героев получили бы рельефную отчетливость», а их переживания — убедительнейшую из мотивировок»⁵³. Универсальна здесь именно переходность: трагическое переходит в героическое и соединенно с обыкновенным, высокое — в прозаически повседневное. Поэма одновременно — и гимн, и инвектива. Сказание о граде Петрове и повесть о печальной судьбе неизвестного человека.

При таком построении произведения публицистически избирательное его прочтение, когда из множества граней выбрана одна, становится не только возможным, но в какой-то мере, и необходимым. Здесь критика «по поводу» иногда являлась непосредственным выражением новых читательских реакций, которые могут и должны составить предмет специального изучения. Без таких трактовок в эстетической жизни произведения не доставало бы многих страниц — таково про-

⁵³ Мейлах Б. С. Художественное мышление Пушкина как творческий процесс. М.—Л., 1962, с. 244.

явление многозвучности пушкинского создания, по-разному отзывавшегося на запросы разных поколений. Однако примечательна и концептуальная недолговечность однозначных и избирательных толкований поэмы. И долг литературной науки состоит, видимо, еще и в том, чтобы с возможной отчетливостью поставить вопрос, что же происходит на данной ступени изучения и прочтения поэмы: критик «приспосабливает» Пушкина к себе или открывает в его произведении объективные истины, способные прояснить современные проблемы?

Все сказанное как будто дает основание считать, что «Медный Всадник» — это произведение, допускающее большую долю относительности во всех исследовательских выводах о его идее. Между тем именно эта возможность относительных колебаний более всего и требует различать в относительном безусловное. Поэма ставит читателю и критику всем своим строем определенные объективные ориентиры и условия верного ее прочтения. Подтверждается справедливость давнего вывода: законы толкования произведения, в известном смысле, заключены в нем самом. Множество соотнесений внутри поэмы, переходность идейно-эстетических понятий в ней вовсе не делают необязательным полноту обзора целого, всех тех аргументов и методов, какими определил Пушкин проблему исторического прогресса. Истина у Пушкина не размыта опровергающими ее контрдоводами — она точно очерчена именно во всеобщем значении открывшихся поэту законов истории. В этом смысле истина сама превращена в поэме в процесс.

В литературе о «Медном Всаднике» накоплен интересный материал для того, чтобы ответить на вопрос, когда-то предложенный читателю А. Белым⁵⁴ в его печально известной книге о пушкинской поэме: «Разве смысл художественного произведения не один?». «В том-то и дело, что, по-видимому, — не один», — считал автор, разрабатывая свою теорию процессуальности поэтического текста, подвергнутую тогда же В. Жирмунским суровой и справедливой критике. Время сделало формалистические просчеты А. Белого еще более очевидными, но как раз вследствие этого прояснило и рациональную сторону проблемы, которой «болел» автор, соглашаясь скорее признать неудачным свое решение открываемой им задачи, чем отказаться вообще от правомерности и необходимости самой ее постановки. А. Белым проводилась актуальная и для сегодняшнего дня критика механистических представлений о

⁵⁴ См.: Белый А. Ритм как диалектика. «Медный Всадник». 1929.

связи содержания и формы. Мысль произведения, замечал А. Белый, существенно искажается исследователем, когда «предполагается, что поэтический сюжет имеет смысл, выразимый в абстрактной идее; и этот смысл сознательно слагает художник в образы сюжета; сперва промыслит содержание, а потом подбирает к нему свои образы»⁵⁵. А. Белый видел в поэме Пушкина не иллюстрацию определенной идеи, не воплощенную, но воплощаемую, процессуальную, а потому и многозначную в процессе ее образования мысль. Плодотворно было стремление А. Белого показать, как идея поэмы создается взаимодействием материализующих ее компонентов, как развивается она в самом обретении формы: «Мы ищем диалектики тем, диалектики образов и мыслей поэмы в их живом вращении друг вокруг друга»⁵⁶. Здесь была сделана попытка теоретически поставить вопрос о подвижности содержания художественного произведения. Однако, указав на принцип релятивности, А. Белый не только не подчинил его никаким объективным законам, но и вообще пришел к их отрицанию, а следовательно, и к отрицанию объективных критериев для литературоведческого исследования. Выводы, которые он сделал, переводя, например, ритмический рисунок поэмы на язык идей, несомненно разочаруют сегодняшнего читателя своей модернизаторской произвольностью. А. Белый свел свое толкование поэмы к выводу о скрытых в ней намеках на декабристское восстание, не избежав тех ошибок произвольного «толковничества», на которые в свое время указывали П. Е. Щеголев и Б. В. Томашевский. В его анализ не имела никакого доступа реальная история, и, когда он вставал перед необходимостью определить смысл описываемых им ритмических кривых, отсутствие истории заменялось самыми примитивными вульгарно-социологическими выводами. Поставленный А. Белым вопрос в его книге не получил разрешения. Полнее и глубже ответили на него авторы исследований, где процесс формирования новых по своей природе философских обобщений рассматривался как проблематика исторической поэтики.

Сделано в этой области меньше, чем в других, — «исследование художественной системы Пушкина как целостного единства» остается и теперь не столько пройденным, сколько предстоящим этапом. Но разрозненные и, на первый взгляд,

⁵⁵ Там же, с. 226.

⁵⁶ Там же, с. 180.

трудно соединимые наблюдения, в разное время делавшиеся в этой области, при ближайшем их рассмотрении оказываются в своей совокупности достаточно стройной концептуальной системой.

От наблюдений над своеобразием жанровой организации поэмы или композиции ее исследователи шли к выводам о миропонимании Пушкина, причем общие принципы его характеризовались во многом одинаково, — примечательно именно это. Ю. Н. Тынянов писал о жанрово-структурном новаторстве Пушкина в поэме, приходя к выводу о том, что Пушкин шел к целостному единству мира. Б. В. Томашевский делал аналогичные выводы о восприятии Пушкиным мира как целого, определяя природу художественно-исторического синтетизма образов поэмы. Черты целостного видения действительности обнаруживал в стихе поэмы Л. И. Тимофеев. Изучая процесс творческой трансформации литературной культуры XVIII века в поэме, Л. В. Пумпянский также писал о диалектической универсальности истории в «Медном Всаднике».

Новаторские искания Ю. Н. Тынянова, выработавшего свой исследовательский метод для обозначения общих законов сложения жанра, в наблюдениях над пушкинской поэмой направлялись на историческое обоснование жанрового своеобразие «Медного Всадника» как явления переходного от собственно поэмы в традиционных ее формах к «петербургской повести». После фундаментальных работ В. В. Виноградова в области стиля Пушкина, перспективность выдвинутых Ю. Н. Тыняновым положений, иногда не получавших у него применительно к «Медному Всаднику» развернутой аргументации, но необычайно точных и емких и как бы содержащих в себе целую программу для последующих конкретных разработок, — обозначилась еще яснее. «Медный Всадник» был включен В. В. Виноградовым в его концепцию развития повествовательного и лирического стилей у Пушкина и характеризовался им как новое единство стихотворного языка и «бытовой прозы — национально-бытового просторечия»⁵⁷. Синтез этих разных стилевых пластов являлся в поэме точным выражением нового исторического мировосприятия и самосознания поэта.

Ю. Н. Тынянов писал о примечательных переменах в жанровой структуре поэмы. Особое значение он придавал изменению традиционного места главного и второстепенного героев. Центральное положение Петра закреплено в «Медном

⁵⁷ См.: Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941, с. 367.

Всаднике» уже самим названием произведения, а между тем, отмечал Ю. Н. Тынянов, — «главный герой» (Петр) вынесен за скобки: он дан во вступлении, а затем сквозь призму второстепенного»⁵⁸. Главным же, по существу, в поэме становится лицо незначительное, по традиции второстепенное. У Пушкина — это лицо, «несущее на себе исторический и описательный материал». Ю. Н. Тынянову важно заметить, что в поэме представлены не результаты такой перемены мест героев, но самый процесс изменения ролей, содержательное значение самого перемещения второстепенного героя на место главного. Когда в построении поэмы выражается такое движение героев, — получает свою материализацию вопрос о роли личности в истории, личности как таковой — от рядовой до «всемирно-исторической».

В жанровом своеобразии поэмы отразилась и новая функция исторического материала. Ю. Н. Тынянов заметил, что он «не играет роли самодовлеющей, документально-археологической, современной только по выбору», он введен в поэму «в виде «мертвого героя», идеологического современного образа»⁵⁹. При этом самый факт действия «мертвого героя» в настоящем времени открывает в поэме далекую временную перспективу событий. «Это уже не время поэмы, соединенное с моментом завязки и катастрофы. Это широкое время — повести»⁶⁰. В «Медном Всаднике» возможен переход от времени основания Петербурга к обзору последующих ста лет, далее — к событиям наводнения ноября 1824 года, а от этой даты — к середине тридцатых годов, т. е. ко времени создания поэмы. Самое передвижение мысли поэта от одной из таких временных точек к другой рождало в поэме идею процесса, потока времени, истории.

Ю. Н. Тынянов сравнивал «фабулу» и «эпизод» в истории жанра поэмы у Пушкина. Прежде фабула являлась канвой для построения личной судьбы героя, — в «Медном Всаднике», напротив, важен «эпизод», т. е. случай, взятый из жизни и принадлежащий не только и не столько личной истории, сколько «общему», истории. «Фабула низведена до роли эпизода, центр перенесен на повествование, лирическая стиховая речь вынесена во вступление»⁶¹, — таковы принципиально важ-

⁵⁸ Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969, с. 154.

⁵⁹ Там же, с. 153.

⁶⁰ Там же, с. 154.

⁶¹ Там же.

ные перемены. Как звено жизни «эпизод» подавался в поэме в совокупности породивших его исторических, социальных, психологических причин. Так слагалось собственно «повествование», «петербургская повесть», где заметно усиливалось внимание автора к аналитическому исследованию объективных законов действительности.

Ю. Н. Тынянов сравнивал «внесюжетную свободу финала» в «Евгении Онегине» и «Медном Всаднике», указывая на открытую проблемную обращенность романа и поэмы не к какому-то отдельному этапу прошлого или настоящего, но к жизни и истории в целом. В сравнении романа и поэмы уточнялся вопрос о том, как складывалась у Пушкина мысль об историческом прогрессе. В «открытом финале» менялось композиционное значение заключительного события. Так, смерть Евгения не являлась в поэме событием, обрывавшим и отменявшим идею поступательного развития. Итоговое событие поэмы—будь оно отрицанием или подтверждением прогресса—здесь не могло быть прямым ответом на вопрос, чего же ждет Пушкин от истории. Сравнение с «Евгением Онегиным» проясняло этапы сложного процесса преодоления providentialных исторических теорий, когда Пушкин приходил к идее саморазвития истории. История в «Медном Всаднике» не имеет ни целеположенного «разума», ни абсолютного «конца»,—она развивается сама собою, собственными противоречиями. Поэтому и событийного завершения поэмы, подтверждающего справедливость дела Петра или отрицающего ее, быть не могло. В поэме завершалась лишь мысль автора о «вечных» вопросах истории.

Применил Ю. Н. Тынянов к анализу «Медного Всадника» и известное суждение Л. Толстого об особом достоинстве пушкинской прозы, состоящем в «гармонической правильности распределения предметов», доведенной Пушкиным, по его словам, «до совершенства». Ю. Н. Тынянов считал, что эта «гармоническая правильность» более всего выражается в создании объективно самостоятельных элементов повествования, когда «действия и события перечисляются, а не рассказываются: они не «педализированы», и когда «нейтральная сценарная фраза вырастает в нейтральную позу рассказчика, уже предсказывающую метод описания войны у Льва Толстого»⁶². Сценарность и нейтральная поза рассказчика—эти принципы повествования выражали едва ли не главную миро-

⁶² Там же, с. 163.

воззренческую примету «поэта действительности». Художник берет свой предмет во всей полноте его объективных тенденций. Целое мира предстает у Пушкина не как рассказ о собственном мироощущении, но как повествование о законах всеобщего взаимодействия людей и обстоятельств. Важнейшей заявкой для будущих исследований поэмы являлось также и замечание Ю. Н. Тынянова об отношении новой повествовательной концепции Пушкина к научным методам исследования истории: «Его художественная работа не только питается резервуаром науки, — писал он о Пушкине, — но и по возникающим методологическим вопросам близка к ней»⁶³.

В работах Б. В. Томашевского изучение пушкинской поэтики также стало наукой о процессах, вернее — об объективной необходимости их. Для исторической поэтики важно не только описать процесс развития какого-то явления, но — главное — понять его объективные предпосылки. Поэма рассматривалась Б. В. Томашевским в устойчивости совершавшихся в ней изменений, в их идейной предопределенности..

Б. В. Томашевский писал о многообразии и разнокачественности вошедших в поэму слагаемых: городской пейзаж, картины природы, элементы исторической хроники, бытовые зарисовки. Но вывод делался им не только о широте охвата материала. Б. В. Томашевский писал об особом способе сопоставления и соотнесения этих разных слагаемых поэмы, принадлежащих прежде всего конкретному миру жизни. Однако это качественно-своеобразная конкретность, в которой ясно выступают законы всеобщего. «Тема города, его маленьких обитателей, петербургских окраин является здесь не самоцелью бытового рассказа: излагаемые события — лишь образы, в которых воплощается историческая мысль Пушкина, его размышления о судьбах России». Принадлежность «этого» случая целому миру достигается средствами композиции. Для того чтобы «конкретные вещи стали орудием исторической мысли», необходимо было, чтобы соотношения между реалиями поэмы значительно превзошли обычные бытовые измерения и были взяты не только в их локальной принадлежности, но и в обширных пределах бытия. Синтетизм мысли, в отличие от символичности, которую, как уже отмечалось, Б. В. Томашевский считал Пушкину совершенно несвойственной, достигнуты в поэме искусством точнейших соотнесений. Пуш-

⁶³ Там же, с. 164.

кин проявляет то чувство меры, когда конкретное, сохраняя всю полноту своей незаменимой ценности и богатства связей с явлениями реальной жизни, остановлено в том его мгновении, которое открывает возможность «продолжения» его, распространения на другую область событий, возможность отыскать «это» в «другом» и «другое» в «этом». Причем важно заметить, что по методу своего возникновения и качеству содержания процесс сложения понятия из конкретных единиц повествования не может приравниваться к мышлению по аналогии. Чтение произведения не сводится к умножению аналогичных примеров, в произведении представлен как бы самый метод эстетического открытия определенных закономерностей бытия, — как метод, образ мыслей оно и должно быть принято читателем.

Страницы, посвященные «Медному Всаднику» в посмертно опубликованном труде Б. В. Томашевского, не содержат развернутого рассмотрения поэмы. Потому и явившиеся результатом глубокого изучения текста формулировки ученого не представлены в его книге в полной системе конкретной аргументации, которая была бы своего рода возвращением читателю всех этапов продвижения исследовательской мысли к ее итоговым стадиям — процесса во многих своих звеньях отнюдь не чернового и приговорительного, но содержащего и самые крупницы искомой истины. Однако и в этих формулировках видна если не вся полнота поддерживающего их эксперимента и наблюдения, то заметна вполне достаточно прямая связь их и со всеми этапами предшествовавших наблюдений, и с самим их способом.

Одной из замечательных особенностей аппарата научных доказательств в работе Б. В. Томашевского явилось его внимание к процессуальности художественной мысли. Система образов во всех рассуждениях его о «Медном Всаднике» понималась не как воплощенная, но как воплощаемая, становящаяся мысль. Особое значение поэтому принимало у Б. В. Томашевского понятие композиции, соотнесения конкретных элементов повествования. В широком смысле слова композиция как план целого рассматривалась им не столько в качестве итогового выражения идеи произведения, сколько как смыслообразующий, идейный принцип.

Все реалии поэмы, например, конкретные приметы окружающего Евгения быта, точно обозначенные особенности его психологического склада, достоверно переданная история его безумия, при всем лаконизме их описаний, поданы в поэме

как реальная история реального бедняка-чиновника. Само по себе взятое, все это могло бы составить материал бытового рассказа, повествования семейно-психологического. Философскую обобщенность этому конкретному миру дает композиция реалий, принцип их соотнесения. Рядом с внутренним миром и судьбой «смирненного» человека предстают столь же ясно и глубоко внутренняя свобода и богатство духа повествователя, в восприятии которого и дан Евгений. Возникающая при этом соотносительность делает заметным некое умолчание, выразительный прием недоговоренности в обозначении личности Евгения (в литературе о поэме имеются на этот счет интересные замечания). То, что на первый взгляд в этом сравнении иногда отмечается как «безликость» Евгения, в действительности имеет совсем иной смысл. При ближайшем рассмотрении композиции видно, что эта мнимая недоговоренность представляет собой способ обобщения, абстрагирования, вырастающего на основе вполне достаточных для него и посвоему наиболее выразительных конкретных деталей. Обращенный к векам и человечеству взор повествователя отмечает в Евгении как «этом» только то, что делает его воплощением судеб массы, участи большинства, когда по его истории можно судить о роли и праве рядовых людей. Необычайно точная психологическая конкретность делает историю безумия Евгения рассказом о достоверном несчастье страдающего человека. Но в сцене безумия композиционные смещения обнаруживают и условность искусства, когда скачущего Петра видит и слышит не только объятый ужасом Евгений, но и читатель. Так возникают новые важные соотнесения, отменяющие необходимость правдоподобия и бытовых подробностей душевной болезни Евгения. «Тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой», — это и виденье пушкинского героя, и священный ужас читателя, это и возвышенная философская мысль повествователя о вечных вопросах истории, исполненной величайшего драматизма.

Понятие «художественный историзм» всегда объединяет в работе Б. В. Томашевского содержание и форму, больше того, — оно постоянно направляется исследователем к переходности этих категорий. Творчество Пушкина не представлено поэтому в виде рядоположных шедевров, готовых ответов поэта на разные вопросы жизни. Оно создается исследователем как непрестанно возводимое художником мироздание. Примечательно, что и свой ответ на вопрос, в чем же видел Пушкин позитивный смысл истории, Б. В. Томашев-

ский строил как описание и исследование именно этого движения пушкинской мысли, ее внутренней динамики и драматизма. В этом смысле формулировки ученого предельно приближены к тексту. В сравнении с некоторыми концептуальными построениями, где «толкование» подавляло первоисточник, они кажутся порою едва ли не полемически нейтральными по отношению к наблюдаемому исследователем развитию сюжета. Исследователь как будто постоянно находится в поле силового притяжения автора, непрестанно испытывает на себе его воздействие. Но это вовсе не описательность, а как раз та необходимая мера подчинения источнику, которая не дает ученому потерять его из вида.

В последнее время усилился интерес к структуре художественной мысли, к произведению как открытой системе, существующей во времени не как в нейтральной или чуждой внешней среде, а к системе, для которой время есть жизненно необходимое условие и взаимодействующий с произведением фактор. Внимание сосредоточивается на произведении как системе, однажды созданной и создающейся вновь в процессе эстетического восприятия. Этот новый взгляд возбуждает необходимый ответный интерес к проблеме объективных констант такой системы. Проблема «стабильного текста», читательская потребность в «простом» восприятии его «подлинного» смысла, вопрос об утрате доверия к литературоведению, проблема точности «неточных» наук, — возникают не случайно. Разрешения этих общих запросов автор удачно названной статьи «История — мать истины» Д. С. Лихачев⁶⁴ предлагает искать на перекрещивающихся путях литературной науки и истории. Своевременным и важным кажется проверенное опытом литературоведения напоминание о том, что для интерпретации стиля «не только нужна, но и особенно нужна» история.

Почти все замечания Б. В. Томашевского о «Медном Всаднике» относятся именно к области стиля. Но понятию «стиль» в его работе придавалось широкое, не совсем традиционное значение, свойственное, впрочем, наиболее удачным страницам и другим литературоведческим исследованиям. У Б. В. Томашевского никогда не заметна граница, отделяющая рассмотрение «идейного содержания» от анализа стиливого своеобразия произведения. Для него стиль — это форма мысли,

⁶⁴ Лихачев Д. С. История — мать истины. — «Литературная газета» 1977, 11 мая.

поскольку в произведении вне определенных форм материализации нет и самой мысли.

Исследователь предложил сопоставление пушкинской системы мировосприятия с философскими исканиями его эпохи. «Закон исторической необходимости», определяющий «общий ход вещей» в произведениях Пушкина, следует поставить в общую связь «со своеобразной философией истории, характерной для первой половины XIX века». Здесь происходили поиски нового всеобщего принципа разъяснения мира и человека, и пушкинская поэма также была своеобразным решением одной из философских формул 30-х годов XIX века — «истинное есть целое». Весь путь становления принципов пушкинского «художественного историзма» изучался Б. В. Томашевским как процесс взаимодействия с идеями его века. Пушкин подверг критике просветительский взгляд на историю, его не могли удовлетворить провиденциальные теории, он не связывал процесс истории только с волевыми усилиями отдельных выдающихся личностей; Пушкин не видел в истории «разумного» целеполагания, но не отдавался и скептическому отрицанию, зная о неизбежности противоречий исторического прогресса. Он признавал закон необходимости, но представлял человека не только ему подчиненным, видя достаточно открытую перед ним возможность выбора и считая его ответственным за самого себя и свою свободу. Запросы гуманизма, остававшиеся в центре системы исторических воззрений Пушкина, соотносились в его сознании с принципами конкретного историзма. В сопряжении этих проблем Пушкиным и отыскивался новый принцип понимания личности и мира. И единственной идеей, единственным понятием, на котором могла основываться эта новая система представлений о человеке и мире, была идея развития объективных противоречий истории. Здесь открывалась новая возможность конструирования мира как целого. Структура поэмы повторяла это общее представление о бытии, сложившееся в 30-х годах XIX века усилиями философской, исторической и художественной мысли.

Чаще всего в своих замечаниях о поэме Б. В. Томашевский и не выходит за ее пределы, речь ведется им как будто бы об имманентных особенностях идейно-стилевого состава отдельного произведения, его внутренних законов. Однако исследователь ищет равнодействующую идейного замысла и стиля и еще раз напоминает, что внутреннее единство формы ведет именно к полноте прочтения идеи. Но те же самые выводы

Б. В. Томашевского убеждают еще и в том, что найти эти внутренние законы произведения, его объективное, предписывающее и предопределяющее в отношении к критику и исследователю значение, можно лишь на основе прямых и опосредованных, но — так или иначе — очень широких связей с историей. У Б. В. Томашевского эти кардинальные линии связи пушкинской мысли с историей всюду ощутимы как осуществляемая ученым программа исследования.

В последнее время уточняется общее представление о 30-х годах как особом периоде в развитии русской общественной мысли. Характеризовавшееся еще недавно как период наступления реакции после поражения декабристов, когда критическое направление 40-х годов и демократизация новых положительных исканий искусства еще не наступила, это десятилетие воспринималось как пора безвременья, период переходный. Теперь все более определенно оно осознается исследователями как ступень новых эстетических и философских обретений, одним из которых должна быть признана историческая концепция Пушкина. В ряде исследований сделаны наблюдения, позволяющие точнее соотнести мировоззрение Пушкина 30-х годов с философскими исканиями Чаадаева, молодого Белинского, Станкевича, В. Одоевского, — с проблематикой русской эстетической, философской и исторической мысли этого периода.

Накоплен большой и разнообразный материал для рассмотрения конкретных связей философско-исторической поэмы с породившей ее эпохой. Круг таких разысканий очень широк и многообразен: от установления непосредственных «источников» поэмы и реалий эпохи, оставивших в ней свой след, до вопроса о литературных традициях; от изучения полемических слоев в пушкинском произведении до проблемы более общих соотношений поэмы с некоторыми историческими идеями начала века.

Во многом подготовлено решение вопроса о связи поэмы Пушкина с развитием русской исторической прозы (исследования С. М. Петрова)⁶⁵, романами Вальтера Скотта и с современной Пушкину европейской мыслью (работы Б. Г. Рейзо-

⁶⁵ См.: *Петров С. М.* А. С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. М., 1973; *Петров С. М.* Исторический роман А. С. Пушкина. М., 1953; *Петров С. М.* Основные вопросы теории реализма. М., 1975.

ва)⁶⁶ — с наследием Шекспира в особенности⁶⁷, тема справедливо признанная «классической» в русском литературоведении⁶⁸. Очерчены контуры и еще одной большой темы: «Пушкин и наука его времени»⁶⁹.

Верно замечено, что здание поэмы построено «из чужих камней» (Д. Д. Благой). Едва ли не за каждой деталью и поворотом сюжета поэмы, вобравшей в себя богатейшее культурно-историческое наследие, выстраивается пространный ряд ассоциаций и связей. В числе «источников» поэмы назывались документальные свидетельства о петербургском наводнении 1824 года (вспомним ссылку Пушкина: «Любопытные могут справиться с известием, составленным В. И. Берхом»). Отмечалось, что в рассказе об ожившей статуе или о том, как Евгений, застигнутый наводнением у подъезда особняка, спасся от волн, вобравшись на мраморного льва, Пушкин мог воспользоваться некоторыми примечательными деталями мемуарной литературы⁷⁰. Содержит поэма в себе определенный «отклик» и на произведение Фальконе — пятидесятилетие со дня открытия памятника Петру отмечалось за год до того, как были написаны строки поэмы. Создание Фальконе полемично в самом своем новаторстве, спор скульптора с традицией, противопоставление Петра Марку Аврелию и сравнение двух типов правителей были отражены не только в переписке Фальконе, но и в самом его произведении. Пушкинский Медный Всадник — не только изображение созданного Фальконе образа, но и продолжение начатого скульптором спора, Пушкин воспринял Всадника во всей совокупности идей, в нем воплощенных⁷¹. Делались в критической литературе и сравне-

⁶⁶ См.: *Реизов Б. Г.* Творчество Вальтера Скотта. М.—Л., 1965. *Реизов Б. Г.* Из истории европейских литератур. Л., 1970.

⁶⁷ См.: *Покровский М. Н.* Шекспиризм Пушкина. — В кн.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. IV. Изд-е Брокгауза и Ефрона; *Винокур Г. О.* «Борис Годунов». Комментарии. — В кн.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. VII. М.—Л., 1935; *Слонимский А. Л.* «Борис Годунов» и драматургия 20-х годов. — В кн.: «Борис Годунов» А. С. Пушкина. Л., 1936; *Верховский Н. П.* Западноевропейская историческая драма и «Борис Годунов» Пушкина. — В кн.: Западный сборник. М.—Л., 1937. *Алексеев М. П.* Шекспир и русская культура. М.—Л., 1965.

⁶⁸ См.: *Штейн А.* Пушкин и Шекспир. — В кн.: Шекспировские чтения. М., 1977, с. 153.

⁶⁹ См.: *Алексеев М. П.* Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972.

⁷⁰ См.: *Лернер Н.* Из истории «Медного Всадника». — «Русская старина». Т. 133, 1908, с. 117—119.

⁷¹ См.: *Аркин Д.* Медный Всадник. Памятник Петру в Ленинграде. М.—Л., 1958.

ния образа города в поэме с реальными приметами архитектурного облика Петербурга⁷².

Обширен круг литературных «источников» поэмы. Из прозаических произведений это неоднократно называвшийся исследователями очерк К. Н. Батюшкова «Путешествие в Академию художеств», «Уединенный домик на Васильевском острове» В. П. Титова⁷³, некоторые мотивы из повестей В. Ф. Одоевского⁷⁴, а также «Петербургские вечера Ж. де Местра»⁷⁵. Отношение к этим произведениям у Пушкина не было одинаковым. С К. Н. Батюшковым он соглашался в общем восприятии Петербурга, его привлекала стройность линий рисунка представленной К. Н. Батюшковым панорамы города, его пластическая выразительность. С Ж. де Местром Пушкин спорил, и непосредственного воздействия форма его произведения на поэта не оказала. У В. Ф. Одоевского Пушкина привлекли некоторые выразительные детали в описании наводнения, но обращение к ним не сблизило Пушкина с общим тоном произведения В. Ф. Одоевского, а явилось скорее поводом для иного философского осмысления стихийного бедствия. У В. П. Титова внимание Пушкина остановила осваивавшаяся искусством тема бедных и зависимых людей, образ самого их «уединенного жилища», не защищенного перед превращениями судьбы⁷⁶. Но в целом прозаические произведения, даже касающиеся близких Пушкину тем, принимались им сравнительно нейтрально в том смысле, что не входили в состав поэмы сколько-нибудь заметными компонентами.

Совершенно особым было отношение Пушкина к поэтическим «источникам». Оно чаще всего отражалось в поэме более заметно, непосредственно материализовалось в ней. Нель-

⁷² См.: Анциферов Н. П. Быль и миф Петербурга. Л., 1924.

⁷³ См.: Томашевский Б. В. Петербург в творчестве Пушкина. — В кн.: Пушкинский Петербург, 1949.

⁷⁴ Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1976, с. 321 и 323.

⁷⁵ Этот источник, по определению М. П. Алексеева, «стал художественным предлогом для больших исторических обобщений, для решения, хотя и в совершенно противоположном де Местру смысле, проблем добра и зла в сфере государственных и личных отношений». (Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972, с. 205). См. также: Нольман М. Л. Poleмическое начало в поэме «Медный Всадник». — «Учен. зап. Костромского гос. пед. ин-та им. Н. А. Некрасова», вып. 13, 1966.

⁷⁶ Об интересе Пушкина к социальным низам, к «бедному человеку» писал Н. К. Пиксанов. (См.: Пиксанов Н. К. Пушкин и петербургская беднота. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. III. М.—Л., 1960; Цяловская Т. Г. «Влюбленный бес». (Неосуществленный замысел Пушкина). — Там же.

за было, например, вступить в спор с Мицкевичем, не войдя с ним в поэтическое соперничество и не показав самого права оспорить польского поэта. Свой торжественно-прекрасный горд Пушкин рисовал как бы на месте стираемых им сатирических черт рисунка Мицкевича, хотя, конечно, и не по одному этому поводу была создана пушкинская поэма. Стихотворения П. А. Вяземского, С. П. Шевырева и в особенности традиция оды XVIII века вызывали Пушкина также на прямой поэтический «ответ». Идейное и эстетическое снятие источника всегда начиналось с известного напоминания о нем, образец как бы сам присутствовал в поэме для того, чтобы стать объектом переосмысления. Потому исследование идейно-стилевой роли таких источников успешно проводилось в литературе о поэме там, где рассматривались эстетические идеи, с традицией связанные, а источник изучался в связи с проблемами мировоззренческими. Интересен в этом отношении опыт Л. В. Пумпянского. Его статья, на первый взгляд, посвященная вопросу узкоспециальному, содержала в себе важные философско-исторические выводы⁷⁷. Их общее направление совпадает с тем, что писали о «Медном Всаднике» в разное время Ю. Н. Тынянов и Б. В. Томашевский. Во взаимодействии трех стиливых слоев поэмы — одического, «онегинского» и беллетристического — Л. В. Пумпянский также находил процесс кристаллизации исторической идеи «Медного Всадника». Традиция не реставрируется, а трансформируется в поэме. Известные в XVIII веке поэтические приемы изображения архитектурного петербургского великолепия, «статуарного чуда», примеры поэтических решений темы наводнения или обращения монарха к своему подданному в прошлом имели основу просветительно-рационалистическую. В поэме эта традиция, как и высокая поэзия «ужаса», «ночи», «бега времени», предстала одновременно «низложенной» и «возрожденной» в новом качестве. Прошлое включалось в восприятие настоящего: «за рассказом об основании Петербурга встает историческая реальность 30-х годов, европейская и русская, встает проблема цивилизации, характерная для Европы данной эпохи»⁷⁸. Обращение к традиции стало средством самосознания в настоящем. Пушкин соотнес два века и тем самым заговорил об истории. Повествование насыща-

⁷⁷ Пумпянский Л. В. «Медный Всадник» и поэтическая традиция XVIII в. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5, М.—Л., 1939, с. 92.

⁷⁸ Там же, с. 123.

ется идеологическими проблемами: «полемика становится основой самого сюжета, благодаря чему сюжет превращается в драму; монархии противостоит Евгений, а Державину противостоит городская беллетристика». Итог подобного противостояния и позитивный результат пушкинского исторического анализа Л. В. Пумпянский видел в самом методе идейного осмысления наследия предшествовавшего века, в зависимости от чего исторически верно определялось Пушкиным и отношение к современности: «Художественное разрешение» борьбы в поэме бесспорно: борьба разрешена в пользу истории»⁷⁹. Итоги становились в поэме вместе с тем и прогнозами, а историческая поэма звучала как «воззвание к будущему обществу».

Интерес к философско-исторической проблематике «Медного Всадника» в связи с идейными исканиями 30-х годов XIX века почти всегда возвращал исследователей к Белинскому. И в возвращениях таких, как уже видно из рассмотренного материала, всех интересовала проблема противоречий истории, их борьбы и единства, а соответственно, и идейно-стилевого единства самой поэмы.

В 1931 году П. Е. Щеголев⁸⁰ формулировал эту мысль как историк, идя от рассмотрения политических взглядов Пушкина, его представлений о русской государственности, и остается только сожалеть, что позднее эта точность оценки пушкинского понимания противоречий действительности иногда утрачивалась, растворяясь в абстрактных рассуждениях о поэме как о некоем вневременном произведении.

Подводя итоги споров о поэме в 1939 году, Л. В. Пумпянский писал, что история изучения поэмы подтверждает плодотворность концепции Белинского: «Как это не раз уже было, суждение Белинского будет оправдано; Белинский, воспитанный диалектической философией Гегеля, более чем кто-либо мог понять то раздвоение единого, которое лежит в основе поставленной Пушкиным проблемы»⁸¹.

В последнее время исследователи поэмы не раз воспомина-

⁷⁹ Л. В. Пумпянский цитирует этот вывод из статьи В. В. Гиппиуса. См.: Гиппиус В. В. Проблема Пушкина. Временник Пушкинской комиссии. В. I, М.—Л., 1936, с. 255.

⁸⁰ Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.—Л., 1931, с. 130.

⁸¹ Пумпянский Л. В. «Медный Всадник» поэтическая традиция XVIII века. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской Комиссии. Вып. 4—5, М.—Л., 1939, с. 91.

ли написанную в 1937 году статью А. Македонова⁸², где выводом о раздвоенности «мировоззрения» и «творчества» у Пушкина, в то время нередким, противопоставлялась мысль о диалектической природе единства и цельности пушкинского гуманизма, — мысль, также идущая от концепции Белинского.

В 1947 году Е. Купреянова⁸³, констатируя известные затруднения критиков в определении позитивного смысла пушкинских философско-исторических раздумий, писала, что критика все же не остается перед поставленным Пушкиным великим вопросом в полной растерянности и что позитивный смысл его ответа на вопрос об историческом прогрессе наиболее точно сформулирован Белинским.

Конечно, предложенные Белинским в тезисной форме, суждения о философской основе пушкинской поэмы сами нуждаются и в конкретизации, и в развитии. Тема «Пушкин и его эпоха», совсем не новая и давно обозначенная в нашем литературоведении, в реализации оказалась очень неравноценна: принцип конкретного историзма в разные годы и в разных работах решался в ней по-разному и с существенно разными результатами. Пожалуй, ничто так не повредило, например, духу и сути высказываний Белинского о поэме, как подход к его выводам без должного историзма. Формула Белинского нередко бралась вне связи с общим процессом его рассуждений о соответствующих философско-исторических проблемах литературы и прилагалась к самым разным толкованиям поэмы. Конкретизация ее и теперь остается первоочередной задачей, и здесь возникает новая трудность. Продвижение исследовательской мысли к конкретному рассмотрению идейной жизни 30-х годов ставит новые вопросы: как верно определить самый предмет соотношений с пушкинской поэмой, каковы методы соположения с ней фактов и явлений, представляемых эпохой, — материала очень разнородного и разнокачественного?

В работах И. М. Тойбина в этом направлении ведутся интенсивные разыскания⁸⁴. В последней книге исследователя⁸⁵

⁸² См.: Македонов А. Гуманизм Пушкина. — «Литературный критик», 1937, № 1.

⁸³ См.: Купреянова Е. «Медный Всадник» А. С. Пушкина. Материалы для пушкинских чтений и лекций. Л., 1947, с. 23.

⁸⁴ См. например, Тойбин И. М. Вопросы историзма и художественная система Пушкина 1830-х годов. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. VI, Л., 1969.

⁸⁵ См.: Тойбин И. М. Пушкин. Творчество 1830-х годов и вопросы историзма. Воронеж, 1976.

уточнен самый круг проблем, занимавших Пушкина в 30-е годы. Называя поэму философско-историческим произведением, исследователи иногда не придавали значения как раз этой философской специфике поэмы и решали на ее основе вопросы совсем не философские. Круг обозначенной И. М. Тойбиным проблематики более точен: он пишет о пушкинском понимании исторического прогресса, о роли личности в связи с проблемой свободы и необходимости.

Плодотворен принятый И. М. Тойбиным метод рассмотрения мировоззренческих принципов, положенных в основу поэмы. Метод этот лишен априоризма — здесь И. М. Тойбин поддерживает традицию лучших работ о Пушкине. «Медный Всадник» — произведение, стоявшее «на пересечении различных идейных и художественных исканий поэта», вобрало в себя едва ли не весь предшествовавший творческий опыт Пушкина, и И. М. Тойбин ставит вопрос о мировоззрении Пушкина очень конкретно, видит его в развитии и в специфически художественных формах. К разъяснению философской идеи поэмы он идет от проблемы автора в «Евгении Онегине», от «шекспиризма» маленьких трагедий, от вопроса о связи настоящего и прошедшего времени в «Полтаве», от философских формул лирики 30-х годов и от эпического видения мира, обретаемого Пушкиным-прозаиком. Весь этот обширный материал в книге — не описательное предварение, а концептуально точная перспектива.

И. М. Тойбин значительно расширяет и, одновременно, уточняет область проводившихся ранее соотнесений поэмы с явлениями и фактами идейной жизни эпохи. Поэма связана, например, в его новой книге с одной из очень показательных, философско-публицистических тем, прошедших через несколько десятилетий развития русской журналистики и литературы, — темы Москвы и Петербурга. «Медному Всаднику» в спорах о древней и новой истории России принадлежало особое место, как и в спорах о Петре будущих «западников» и «славянофилов». Тщательно и точно собраны И. М. Тойбиным и параллели к истории «бедного Евгения», удачно, например, соотношение ее с темой «безумия» и трагического прозрения в творчестве романтиков. Воссоздаваемый вокруг поэмы литературно-философский контекст в книге И. М. Тойбина не просто расширяет область связей поэмы с эпохой. Предназначение его более глубоко и продуктивно: он проясняет истинное содержание многозначных образов «Медного Всадника», ведя их начало от общественного сознания эпохи, где поэма

возникла, и наиболее обоснованно отвергая тем самым модернизаторские приурочения пушкинского произведения к идеям более позднего времени. Именно на этом пути, в противоположность поверхностным приспособлениям произведения к вопросам современности, открывается его подлинная актуальность, неотделимая от исторической преемственности.

И. М. Тойбин принципиально прав, когда заявляет о широкой области объективно сопоставимых с «Медным Всадником» явлений, полагая, что исследование более прямых «источников» поэмы представляет собой лишь часть — пусть и очень важную — названной им темы. В книге И. М. Тойбина уточняется вопрос и о разнообразии, разнокачественности самих связей, идущих от поэмы к эпохе и обратно — от времени к пушкинскому произведению. Для обозначения их недостаточно обычно наиболее употребимых понятий — «литературная связь», «творческая преемственность», «традиция», «влияние». Необходимо возникает еще и вопрос о правомерности такого понятия, как «объективное соотнесение», когда сравниваются, положим, философско-публицистический трактат и художественное произведение, причем ни непосредственного влияния, ни прямых связей двух таких разнородных произведений нет, а между тем они принадлежат одному времени, в них решаются на разном материале и в разных сферах познания одинаковые вопросы, характеризующие во многом самый тип мысли, свойственный данной эпохе. Такого рода соотнесения вполне законны, потому что и здесь часто проясняются общие закономерности исторического знания о человеке и мире. Однако при этом закономерно широкое взгляде на проблему вопрос о том, что же может быть сравниваемо с «Медным Всадником» и как должны строиться подобные сравнения, что здесь окажется плодотворным и что «зряшным» — нуждается в самой строгой проверке.

Обращаясь к предшественникам и современникам, Пушкин спорил и солидаризовался, отвергал ту или иную систему исторических воззрений или принимал традицию в новом осмыслении. Содержательным было при этом и уклонение Пушкина от некоторых общепринятых решений, умолчание или отказ от традиционных формул прогресса. При ближайшем рассмотрении в произведениях гения «откликов» и «заимствований» оказывается гораздо больше, чем у рядового литератора. Есть области знания, на которых Пушкин воспитывался и которые глубоко и непосредственно вошли в его сознание, в особенности в период его формирования и в 20-е годы, — напри-

мер, культура французского Просвещения, английский романтизм и Байрон. И есть области, несравненно более от него отдаленные, даже чуждые ему, — например, немецкая идеалистическая философия. Вместе с тем, вне языка ее понятий, в 30-е годы понятий общепринятых, многие открытия пушкинского историзма окажутся как бы вне эпохи, в безвоздушном пространстве. Для исследователя, конечно, не должно быть безразлично отношение самого Пушкина к разнообразным сторонам идейной жизни его времени, но для выяснения объективного соотношения идей этого, как видим, недостаточно. Не может быть безразлично для исследователя, в стихах или прозе прозвучала близкая или противоположная поэме Пушкина мысль — стихи, в известном смысле, всегда окажутся «ближе». Создание подлинного искусства иногда не дает прямых поводов для связи с поэмой Пушкина, но действительно стоит к ней ближе, чем третьестепенное произведение, по теме с «Медным Всадником» более совпадающее и в этом смысле удобное для сравнения, однако вряд ли оставившее заметный след в сознании Пушкина. Небезразлично для исследователя, и какому лицу принадлежит захватившая внимание Пушкина мысль, какая биография и какой именно пласт историко-культурных ценностей встает за этой мыслью. Таким образом, самое понятие «эпоха» в применении его к поэме Пушкина еще нуждается в уточнении. Эпоха не является исследователю в готовом виде, и в установлении связи Пушкина с идейной жизнью 30-х годов очень важно верное понимание перспективы, эпоха для Пушкина еще сама должна быть найдена. С этой точки зрения не со всеми построениями в книге И. М. Тойбина можно согласиться.

Он предлагает, например, не придавать особого значения полемике Пушкина с Мицкевичем (что само по себе верно), на том основании, что отрицательное воззрение на русскую историю, против которого выступил в поэме Пушкин, не было для него новостью. Поэт был знаком с такими взглядами еще по «Философическому письму» Чаадаева, и полемические строки «Медного Всадника» — не столько ответ Мицкевичу, сколько возражение Чаадаеву. Такая переадресовка, думается, неверна. Во-первых, стихи большого поэта не могли равняться для Пушкина никакому прозаическому произведению, даже так близко его затрагивавшему и непосредственно автором ему переданному, как «Философическое письмо». Во-вторых, спор с «Философическим письмом» был и по существу иным — предмет возражений Пушкина, при внешнем его сов-

падении с идеями Мицкевича и по содержанию другой. Упомянув о «существенных различиях, в том числе и политических», во взглядах Мицкевича и Чаадаева, И. М. Тойбин далее развивает мысль о совпадении их взглядов на Петра на том основании, что и тот, и другой считали петровские преобразования делом внешним и в России неукоренившимся. Но совпадение такой оценки скорее чисто словесное, чем идейное. Ведь Мицкевич изображал Петра как тирана, не принятого собственной страной, Чаадаев же, напротив, глубоко сожалел, что дело Петра его потомки не упрочили.

Думается, что и в целом связь поэмы с романтическим миропониманием была сложнее, чем обозначена она в книге. Во всяком случае, некоторые явления, эту связь характеризующие, не укладываются в предлагаемые И. М. Тойбиным формулировки. Конечно, сравнение Пушкина с любым его современником подобно решению задачи с заранее известным ответом. Однако выдвинутые современниками идеи не были только предметом отрицания для Пушкина, эпоха дала ему достойных собеседников. Между тем Чаадаев или В. Одоевский таковыми в книге И. М. Тойбина не являются, тогда как в действительности они ими были. Отношения преемственности иногда есть и там, где на первый план выступает критический взгляд Пушкина на определенную систему воззрений. Так связаны, в частности, Пушкин и Чаадаев. Преемственность не исчерпывается совпадением взглядов или прямым соответствием творческих исканий. Например, чаадаевское отрицание, Пушкиным не принятое, имело для него все же и позитивное значение. Бескомпромиссность отрицания, с присущим Чаадаеву неотступным интересом к практическому приложению теории, поставила его перед выбором: или признать несостоятельность провиденциальной точки зрения на историю и искать для оправдания русской действительности другие способы, или для подтверждения непогрешительности теории признать Россию исключением из правила и ради спасения теории отрицать историю целого народа. Духовная трагедия Чаадаева, принявшего последний вывод, с наибольшей ясностью обнаружила несостоятельность самой провиденциальной теории, что и было особенно важно для Пушкина. В известном смысле чаадаевское отрицание укрепило не только самую идею, но и принципы пушкинского признания действительности.

Романтический опыт осмысления века и судьбы личности характеризуется И. М. Тойбиным главным образом со стороны его неполноты и односторонности сравнительно с реали-

стическим методом Пушкина. Верно заметив, что в 30-е годы «процесс сближения литературы с философской мыслью, их взаимодействия приобретает широкие масштабы и протекает в различных формах», И. М. Тойбин вместе с тем не обращается к тем решениям проблемы личности, необходимости и свободы у Чаадаева или В. Одоевского, критическое рассмотрение которых у Пушкина во многом уточнило в его поэме новые, реалистические принципы осмысления исторического прогресса. И. М. Тойбин считает, что обращение к истории оборачивалось у В. Одоевского «отрицанием реализма, враждой к материальной действительности»⁸⁶. Известно, что система «двоемирия» в мировосприятии В. Одоевского и аллегоризм применяемых им исторических параллелей были действительно чужды Пушкину, рано заметившему априорность философских построений русских Любомудров. Но Пушкин все же начинал свою работу не на пустом месте, не там, где мысль его современников бездействовала или являлась самоочевидным отступлением от истины. В подтверждение бесплодности аллегоризма В. Одоевского приводится, например, его рассуждение о метафоре, далеко не во всем ложное. «В природе, — писал В. Одоевский, — все есть метафора одного другого; жизнь растения — метафора жизни человека, жизнь человека — метафора времен»⁸⁷. Такое восприятие мира разъясняется И. М. Тойбиным едва ли не как призыв к лишенному всякой жизни метафизическому схематизму. Но ведь таким образом впервые формулировалась мысль о многозначности явлений, их переходности и всеобщей связи. И трагическое, и проблема случайного решались романтиками и Пушкиным различно. Но при всем том, считать самое внимание к «случаю» только признаком романтического миропонимания и отказом от поисков общих закономерностей мира, вряд ли правомерно. И фантастическое, и непредсказуемость случая, имевшие большое значение в романтическом мировосприятии, были очень важны для историзма Пушкина, потому что к реализму не было прямого пути от описания быта и правов. Постигая закономерности действительности, Пушкин трансформировал многие принципы романтического мировосприятия. Отношения между реалистической и романтической системами

⁸⁶ Там же, с. 115.

⁸⁷ Там же.

мировосприятия в 30-е годы никак не исчерпывались теми ситуациями отрицания и отталкивания, о которых преимущественно пишет И. М. Тойбин, противопоставляя поэму «Медный Всадник» всем иным концепциям истории. Само противопоставление может и должно в данном случае содержать элемент позитивного освоения, отправных точек опоры, начиная с которых и строилось новое мироздание в пушкинской поэме.

Примечательно, что для своего подхода к «Медному Всаднику» И. М. Тойбин избирает сравнительно узкий круг имен, не столько дающих возможность для объективного анализа процесса преемственности и борьбы идей, сколько иллюстрирующих предлагаемый автором книги тезис. Вслед за цитировавшимся суждением В. Ф. Одоевского, И. М. Тойбин упоминает произведения Н. Кукольника и мистическую поэму В. Печерина «Торжество смерти». Вряд ли эти произведения занимали в сознании Пушкина такое место, какое занимают они в концептуальном построении автора книги. Противопоставить «Медный Всадник» этим произведениям нетрудно, но вряд ли это противопоставление укажет на сущность расхождения Пушкина с романтическим решением проблем случайности и необходимости, исторического прогресса или роли личности.

Вызывают возражение некоторые примеры сближения пушкинской поэмы с реалиями эпохи, примечательными фактами биографии некоторых современников Пушкина. Кажется, например, натянутыми параллели между историей «бедного Евгения» и биографией К. Н. Батюшкова, долгие годы жизни которого были омрачены душевной болезнью, человека знавшего нужду и писавшего о себе — «не знатен, не чиновен и не богат». И. М. Тойбин прав, когда пишет, что Евгений — лицо совершенно новое в литературе, появление его стало возможным потому, что «в социальной структуре русского общества к 30-м годам произошли значительные изменения» да и преобладает в этом образе не узко сословное, а широкое, общегуманистическое начало — «попытки свести его содержание ко взглядам Пушкина на судьбу разоряющегося дворянства не оправданы»⁸⁸. Но предложенной в книге параллелью значение развиваемой Пушкиным темы невольно сужается, она делается более локальной, против чего справедливо возражает сам же автор книги.

⁸⁸ Там же, с. 155.

В построении своих аргументаций И. М. Тойбин чаще всего идет от поэмы к окружающим ее идейным течениям. В изложении материала преобладают линии центробежные — от поэмы к эпохе. Но И. М. Тойбин запрашивает эпоху, чаще всего располагая тонкими и верными наблюдениями над текстом, потому и соположенный «Медному Всаднику» материал так верно резонирует на точно обозначенную исследователем проблематику пушкинского произведения, как бы обрастающего под пером исследователя новыми историческими связями. В этом смысле книга И. М. Тойбина — обстоятельный опыт литературного, общественно-публицистического и философского комментария к «Медному Всаднику». Определенное еще в работах Б. В. Томашевского понятие «художественный историзм» здесь несомненно получает наиболее развернутую конкретизацию.

Важно заметить, что интересные наблюдения автора книги в этом направлении приводят его к обозначению все той же, давно занимавшей внимание исследователей проблемы единства пушкинского мировосприятия, значительно обогащая эту проблему. Обозначая, например, новое эстетическое отношение Пушкина к факту, особую роль «прозаического» обрамления его поэмы, новые функции исторического обзора, — все, что выражало возраставшую аналитическую глубину и объективность мысли поэта, И. М. Тойбин приходит к выводу, что предметом углубленного его изучения являются объективные закономерности истории в их внутренней целостности и единстве. Верно замечена автором книги и идейно-эстетическая мера детализации в пушкинской поэме — разная в разных звеньях повествования и выражающая в конечном счете единое решение вопроса о роли личности в истории. И. М. Тойбиным найдены также уточняющие формулировки в определении идейно-композиционной связи «Вступления» и главной части поэмы, поддержана высказывавшаяся еще П. В. Анненковым, плодотворная мысль об эпической точке зрения повествователя в «Медном Всаднике», существенно повлиявшей на самый тон трагического финала поэмы.

Вместе с тем, среди известных определений пушкинского решения вопроса о смысле истории и роли личности выводы И. М. Тойбина представляются не во всем наиболее убедительными. Есть основание считать, что итоговые суждения его о поэме, хотя в них и содержится ряд перспективных заявок, в целом несколько беднее той системы доказательств, которая этим выводам в книге предшествует.

И. М. Тойбин возвращается к главному вопросу истории изучения поэмы, в последние годы вновь представленному рядом очень разнородных решений, — в чем же состоят позитивные итоги пушкинского обращения к истории? Остановимся на некоторых из них.

Можно с уверенностью сказать, что во всех тех работах, где историческая необходимость не принималась в расчет как одна из важнейших для Пушкина проблем, утрачивалось и восприятие всего произведения как целого. Разноречивость мнений среди сторонников так называемой «гуманистической» точки зрения на поэму⁸⁹ объясняется отчасти именно этим обстоятельством. Когда не принимается во внимание проблема «единства» и внутреннего «равновесия» произведения, а пушкинский ответ на вопросы философии истории связывается в основном с протестом Евгения, — замкнутость поэмы как целого нарушается и открывается свобода для произвольного истолкования поступков и судьбы этого героя. Причем сила его протестующего сознания либо преувеличивается, когда ее считают призванной выразить программу самого поэта, либо признается, что автор видит в герое силу еще слишком незначительную. Пример двух последних по времени трактовок поэмы, предложенных Д. Граниным и П. Антокольским, в этом убеждает. Д. Гранин писал о дорогой Пушкину человеческой отваге Евгения, восставшего «на медную самодержавную власть»⁹⁰. П. Антокольский, напротив, считал, что «ответ» Евгения на события, жертвой которых он стал, слишком уж незначителен и что поэт только сочувствует «бедному Евгению», причем «сострадание Пушкина уничтожает героя в большей степени, чем какой бы то ни был приговор»⁹¹.

В несколько трансформированном сравнительно с прошлым виде представлена в работах последних лет и противоположная точка зрения, где пушкинский оптимизм основывается уже не на идее грядущей свободы, а на развитии мысли об исторической необходимости дела Петра. Сравнительно с

⁸⁹ См. напр., справедливое возражение Г. П. Макогоненко против некоторых положений статьи М. Харлапа «О «Медном всаднике» Пушкина» («Вопросы литературы», 1961, № 7), автор которой, следуя призыву отбросить «государственную» точку зрения Белинского, пришел к выводу, что словами Евгения Пушкин выражает свою солидарность с позицией Мицкевича в отношении к Петру как символу самодержавия. (См.: Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы, с. 336).

⁹⁰ Гранин Д. Два лица (Заметки писателя). — «Новый мир», 1963, № 3, с. 219.

⁹¹ Антокольский П. О Пушкине, с. 171.

прошлым, здесь больше обращено внимание на необходимость как «разум» истории. Проблема внутреннего единства противоборствующих сил поэмы при этом также не учитывается.

Наиболее последовательно эта точка зрения выражена Б. Г. Реизовым. Он считает, что в основе преодоления трагического в пушкинском историческом оптимизме лежит идея справедливости дела великой исторической личности, способной «своим разумом и волей победить обстоятельства и создавать историю, подчиняясь ее законам»⁹². Мысль, что свершать историческое дело может только личность, способная соединить свои действия с объективно назревшей потребностью, в творчестве Пушкина вызревала вместе с идеей детерминизма, занимавшей его внимание так же, как и реалистической принцип видения человека. В этом смысле Б. Г. Реизов прав: знание истории позволило Пушкину показать, что Петр «делал то, что было нужно его стране», и поэт увидел в нем героя. Однако, Петр, победивший обстоятельства и создающий историю по ее законам, превращается здесь в некую абстракцию воли, основанной на знании законов, персонифицирует прогрессивное движение истории, ее разум и, как увидим, справедливость. Дело в том, что противостоящий этой разумно действующей личности человек не может вызвать, с точки зрения Б. Г. Реизова, никакой полноты сочувствия. Ведь своим страданием он бросает тень на самый разум истории и обнаруживает непонимание высокой миссии Петра. Евгений «не видел ничего, кроме своей беды, и роль Петра измерял бедствием, принесенным невской волной»⁹³. Евгений становится не более как жалким безумцем, неспособным понять великих деяний, у него, собственно, отнимается право быть трагическим героем. Из рассуждений Б. Г. Реизова, на первый взгляд, следует, что знание законов истории освобождает от трагедии, но, по сути дела, это не «снятая», а исключенная трагедия, признанная несуществующей как простое «неразумие». История же выглядит при таком ее понимании ничем иным, как разумным целеполаганием.

Некоторые современные исследователи, также считая, что знание истории составляет в поэме могучую разрешающую силу, в отличие от Б. Г. Реизова, не сводят к нулю вторую сторону исторического противоречия (Евгения) и считают, что

⁹² Реизов Б. Г. Из истории европейских литератур, Л., 1970, с. 47.

⁹³ Там же, с. 47.

Пушкин вообще создал поэму без «катарсиса». Он поставил вопрос, решения которого не взял на себя: «Выводы он предоставляет уму и сердцу читателя!»⁹⁴.

Мнение, что заслуга Пушкина состоит уже в самой постановке вопроса об исторических противоречиях, высказывается в литературе о поэме не впервые. Л. И. Тимофеев также считал, что «результат поединка (Петра и Евгения. — Г. М.) оказывается вне поля зрения поэмы». По мнению Л. И. Тимофеева, ценным позитивным смыслом обладает уже постановка вопроса. Об этом хорошо сказал и Д. Гранин в уже упоминавшейся статье: «...если раскрылись противоречия истинные, а не надуманные, то, может, это лучше всякого сведения концов с концами»⁹⁵. Вот именно это раскрытие истинных противоречий и явилось у Пушкина материалом к постановке вопроса. Вопрос не облекался в поэме в символические фигуры, он брался в данных жизнью отношениях. Сравнительно с точкой зрения Л. Слонимского, Л. И. Тимофеев, изучая лиро-эпическую природу стиха «Медного Всадника» и говоря о главном вопросе поэмы, в большей мере обращал внимание на позитивную содержательность самого вопроса. В поэме дано «равновесие»: «Трагическая судьба и сила гнева Евгения как бы уравнивает величие Петра и его дела. Величие Петра как бы нейтрализуется трагедией Евгения»⁹⁶. В прямом значении слова ответа на вопрос о смысле жизни в поэме нет, но самый вопрос уже содержит на этот ответ указание, говорит о путях его поисков. Таково заключение Л. И. Тимофеева: «Ответа на поставленный вопрос она (поэма. — Г. М.) не давала. Но вопрос был поставлен — великий, в нем было отражено основное историческое противоречие всемирного масштаба»⁹⁷.

В этом же направлении двигалась и исследовательская мысль Е. А. Маймина. От сравнения философской лирики Пушкина с позицией Любомудров он приходил к некоторым общим заключениям также и о своеобразии выражения позитивных итогов в философской поэме Пушкина. Поэма — «это великая загадка жизни, это великий о жизни вопрос, над которым, читая «Медного Всадника», задумывались и размышля-

⁹⁴ Слонимский Л. Мастерство Пушкина. М., 1937, с. 307.

⁹⁵ Гранин Д. Два лика (Заметки писателя). — «Новый мир», 1968, № 3, с. 226.

⁹⁶ Тимофеев Л. И. «Медный Всадник». Из наблюдений над стихом поэмы. — В кн.: Пушкин. Под ред. А. Еголина. М., 1941, с. 241.

⁹⁷ Там же.

ли и после Пушкина многие поколения читателей»⁹⁸. Содержательность и потенциальный позитивный смысл самой «загадки» и «вопроса» признаются несомненными.

Итак, преодоление трагедии в перспективе грядущего возмездия или в признании законов исторической необходимости, — таковы последние итоги. История изучения поэмы свидетельствует, что с большей полнотой конкретному ее содержанию соответствует второе решение вопроса, правда, не в том его варианте, когда под необходимостью понимается «разум» истории. Мысль о признании «разума» истории чаще всего приводила в философии и литературе к соответствующему признанию разумности существующего положения вещей, но Пушкин далек от такого итога: в центре его произведения стоит трагический вопрос истории. Между тем «освобождающее» значение знания еще совсем не обязательно ведет к признанию существующего не подлежащим критическому пересмотру. В самом анализе противоречий истории лежит возможность «возвыситься» над ними. Так понимал значение высокой мысли поэта Белинский.

«Освобождающее» начало пушкинской поэмы И. М. Тойбин находит в эпическом свойстве самой «авторской точки» зрения в поэме. Взаимоисключающие начала соединяются в эпическом как принадлежащие единой истории. Обретший в опыте прозы и с развитием реалистического метода эту точку зрения, Пушкин, — считает И. М. Тойбин, — «склоняет» свое восприятие то к Петру, то к Евгению». В истории и в авторском видении оба героя присутствуют на равных правах. В этом выводе, как показывает литература о поэме, И. М. Тойбин не одинок, но к нему он идет своим путем, изучая полнее предшественников такое важное понятие, как авторская точка зрения в поэме. Связав проблему автора с укрепляющимся в творчестве Пушкина 30-х годов качеством эпичности, И. М. Тойбин многое сумел увидеть в идейно-художественном составе поэмы по-новому верно.

Однако как раз именно в разъяснении исторической необходимости с заключительными формулировками И. М. Тойбина не во всем можно согласиться. Он пишет: «Да, погибает Евгений, торжествует Петр, но значит ли это, что необходимость истории всегда будет только на стороне Медного Всад-

⁹⁸ Маймин Е. А. Философская поэзия Пушкина и Любомудров (К различию художественных методов). — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. VI. Л., 1969, с. 116.

ника, что в истории для Евгения не остается никакого места? Разумеется, нет»⁹⁹. Что предвещает новый поворот исторической необходимости в сторону личности, подобной Евгению, поворот, остающийся за пределами поэмы,—мы знаем. И в самой поэме И. М. Тойбин находит указание на это «будущее». Что же говорит о грядущей победе человека, теперь бесследно ушедшего из жизни? Автор книги заканчивает свое рассуждение о пушкинском гуманизме такими словами: «Потенции будущего — в поэзии, носителем их выступает автор, глашатай гуманности»¹⁰⁰. Историческая необходимость, когда она снова отождествляется у И. М. Тойбина с понятиями «справедливости» и «прогресса», не кажется вполне применимым к поэме ключом. Вывод исследователя не безупречен. Из приведенного рассуждения следует: теперь необходимость на стороне Петра — он побеждает и побеждает справедливо как великая личность, осуществившая веления истории; завтра необходимость будет на стороне личности, подобной Евгению, и тогда ее победа станет и возможна, и справедлива — она тоже будет осуществлять пути истории. Историческая необходимость предоставит в свое время каждому свое. Все необходимое несет в себе прогресс как свой атрибут, а поскольку прогресс всякий раз берется им в его вершинной точке — как дело нации — будь то созидание Петра или сокрушение кумиров, — то в прогрессе и видится главным образом утешающая справедливость. Благая целеположенность истории находит своих исполнителей и следует своим путем — что же остается на долю дерзающего, победившего или погибшего человека? У Пушкина история ничего ему заранее не обещает, как и жизнь не чувствует себя в отношении к нему ничем обязанной, как искусство не дает преданному и талантливому Сальери никаких «гарантий». Думается, здесь есть расхождение с концепцией исторической необходимости И. М. Тойбина. В пору создания «Медного Всадника» история не признавалась Пушкиным телеологическим, т. е. целеположенным процессом. Что жизнь сама по себе не содержит такой внутрисположенной цели, он показал в шутливо-сатирических поэмах и в эпилоге «Пиковой дамы». История часто предлагает концовки самые иронические и печальные. Даже тому герою, чье дело «неколенимо, как Россия», она ставит свой вопрос. В пушкинской по-

⁹⁹ Тойбин И. М. Пушкин. Творчество 30-х годов и вопросы историзма, с. 192—193.

¹⁰⁰ Там же.

эме, в настоящем ее времени, одинаково «необходимы» — поскольку они неслучайны — и торжество Петра, и гибель Евгения. И история противоречива не только сегодня, потому что пока не подняла на степень необходимого протест Евгения — противоречив сегодня и всегда совершающийся исторический прогресс. Пушкин включает в свою философию истории, как уже вошли они в жизнь, и величие героя, и в полной мере, идею невосполнимости человеческих потерь. Целеположенно «разумной» и изначально справедливой, движущейся к абсолюту по ступеням веков, тщетно стремился увидеть историю Чаадаев. От такого рода иллюзорных постулатов, при их проверке фактами жизни, заводящих в трагические тупики, из которых даже сильные умы иногда ищут выхода в мистицизме, Пушкин был свободен.

И. М. Тойбин недооценивает разрешающей силы самого драматизма истории, так глубоко понятого Пушкиным. История не остается сама у себя в долгу, только потому, что она до конца доводит логику всякого явления, и она «справедлива» лишь постольку, поскольку в ней прорастает в конечном счете все, что имеет глубокие корни. Для автора «Медного Всадника» и «Капитанской дочки» эти корни уходят в историю народа, национальной духовной культуры.

Состав поэмы в конкретной данности самого ее сюжета не представляется И. М. Тойбину в достаточной мере указывающим на оптимистические перспективы, отсюда, скорее всего, и явилась необходимость в заключительных словах предложенной им формулировки: «потенции будущего — в поэзии», носитель их — «автор — глашатай гуманности». «Глашатай» — это гражданственно-ораторское и пафосное утверждение оптимизма. Но ведь «петербургская повесть» прежде всего основывается на «ходе вещей», исторически необходимым драматизме. И думается, что, относя субъективно-лирические и оценивающие интонации к основным формам выражения перспективы будущего, И. М. Тойбин отступает от собственных выводов об эпичности поэмы. Трудно согласиться и с его замечанием об особом, предзнаменовательном смысле образа «бедного поэта», поселившегося в покинутом Евгением «пустынном уголке» и утверждающего тем идею бессмертия поэзии. После строгой доказательности наблюдений над эпичностью точки зрения повествователя эти последние замечания И. М. Тойбина возникают как будто бы из недоверия к самому исполненному динамичности объективному строю поэмы, содержащему в себе вполне достаточный потенциал будущего.

В изучении поэмы такое недоверие всегда приводило к натяжкам.

Вместе с тем среди итоговых суждений И. М. Тойбина о поэме есть одно заслуживающее особого внимания и поддержки. Он пишет об освобождающей силе самого искусства, поэзии, как явления эстетического. Красота поэзии — тоже область духовной свободы, высоко поднимающая небо над героями «петербургской повести». И если верно, что сила аналитической авторской мысли поднимает читателя над печальной судьбой Евгения, то несомненно и то, что неотделимое в пушкинском гуманизме от «добра», «прекрасное» также имеет свои разрешающие возможности. Необходимость продолжения работ о стихе, ритмической и музыкальной организации поэмы очевидна¹⁰¹. На своих путях соединения с историей эта область многое уточнит в философско-эстетическом содержании «Медного Всадника».

* *

*

История вопроса проясняет некоторые стороны его теории. Здесь по-своему отражено своеобразие идей и форм произведения; его жизнь во времени и теоретические вопросы, с ней связанные и в определенном смысле подготовленные самим произведением.

Отмечавшееся многими исследователями и казавшееся парадоксальным «несоответствие» конкретной фабулы поэмы широте ее философской проблематики давно воспринималось как существенная особенность ее идейно-стилевого состава. Необычность «Медного Всадника» состояла в том, что в конкретной судьбе героя, имевшей свое «начало» и «конец», были обозначены принципы бесконечности исторического движения. В поэме нет соответственной концу Евгения конца мысли поэта. От трагического вопроса в финале поэма возвращает к начальным и последующим ступеням развития сюжета, не предлагая ни одного конечного ответа на поставленную проблему и разворачивая тем самым вывод о том, что история разрешается собственными противоречиями. Относительной кон-

¹⁰¹ См.: *Томашевский Б. В.* О стихе. 1929; *Тимофеев Л. И.* Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958; *Шервинский С. В.* Ритм и смысл. К изучению поэтики Пушкина. М., 1961.

цептуальной завершенностью в поэме при этом обладает каждый поворот сюжета и каждая ситуация, однако конечные моменты ее развития всегда содержат начало перехода к противоположной ситуации — всеобщим же остается только принцип движения.

Проблема переходности сохраняет у Пушкина всю полноту ценностных определений героического, самоотверженного, прекрасного, доброго — история и поэт отдают этим проявлениям человеческой личности бескомпромиссное признание. Указанная здесь последовательность — «история и поэт» — особенно важна, потому что Пушкин ищет подтверждения всех этих свойств не в «должном», а в «сущем». В противоречиях исторического прогресса эти ценности не потеряны, между тем они не существуют в абсолютном проявлении, потому и в поэме относительность ситуационных прикреплений героического или прекрасного к определенным действующим лицам в определенном их отношении развита Пушкиным также в полной мере. Несомненность истин прогресса, патриотизма и гуманизма подтверждается не отдельными примерами их «чистого» выражения, а действительной устойчивостью их в противоречиях развития.

Основой исторического оптимизма в поэме должна быть признана мысль, что достойное жизни утверждает свою необходимость и в трагической ситуации — развитие же событий оставляет человеку достаточную свободу выбора для подтверждения неотменимости его человеческих запросов в великом и малом, в реальном драматизме борьбы. Условием выражения такого подхода к истории явилась полнота пушкинского воспроизведения всех динамических потенциалов жизни и в утверждении, и в отрицании. Позитивный ответ на вопрос о смысле человеческой жизни и роли человека в истории не мог быть сосредоточен ни в одной из ситуаций поэмы, он как бы не покрывался для Пушкина никакими отдельными примерами, но в наибольшей полноте заключался в самой идее необходимости развития.

Критика и литературоведение, обращаясь к поэме Пушкина, изучают не неизменный, но постоянно развивающийся предмет. Объективная изначальная данность произведения не сохраняется повторением его, она подтверждается неперменным его возобновлением, возвращением к первоисточнику через историю, где первоначальное, «старое» сохранилось только потому, что не ограничилось самим собою. Произведение — истина объективная, но не конечная, причем феномен

неисчерпаемости в равной мере создается поэтом и историей. Последнее слагаемое, история, выступает здесь не только как история читателя, история критики, но также и как реальная история произведения, его историческая жизнь — оно само в своем действительном существовании.

Многозначность образов «Медного Всадника» включает в себя далеко не все примеры толкований поэмы. В отличие от «толковничества», многозначность всегда есть производное от объективной данности авторского замысла. Исследовательская инициатива и свобода нового взгляда на произведение здесь находится в прямой зависимости от строгой верности авторской воле. История изучения поэмы подтверждает актуальность всеми будто бы принятой истины, о которой все же имел основание напомнить, подводя итоги дискуссии о «Медном Всаднике», С. М. Бонди. Искать идею поэмы следует «не в отдельных фразах, словах, оборотах, а во всем произведении, в целом — в сюжете, образах, композиции»¹⁰². О мировосприятии поэта говорит только целое поэмы, и именно целостностью своей произведение и взаимодействует со своей эпохой, в целостности оно «помнит» историческую почву, на которой выросло. Принцип целостности есть одно из важных условий и показателей действенности произведения как определенной мировоззренческой системы. Именно как система оно и обращено к последующему историческому процессу. В этой непрерывности взаимодействий с историей совершается отбор, подтверждение и развитие его идей, причем, как уже отмечалось, это не подбор аналогий — ведь и само произведение — не сумма конечных истин, оно живет как возобновляющийся процесс совершенного художником открытия. Поэма даёт ряд идей и значений, объективно обусловленных в своем содержании и в его развитии предустановленных авторской волей. Противоположность многозначности — суждения «по поводу» поэмы, — при всем внешнем разнообразии они всегда однозначны.

С наибольшей философской полнотой универсальность пушкинского историзма была отражена в суждениях Белинского. В статьях о Пушкине Белинским были обозначены две проблемы, которые и сегодня нельзя не признать ключевыми и важными не только для осмысления «Медного Всадника». Он писал о «пафосе» поэта и настаивал на необходимости

¹⁰² См.: «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка». т. XXI, вып. 3, 1962, с. 284—285.

первоначального подчинения критика поэту как единственном условии последующего отстранения от него на необходимую для объективного рассмотрения дистанцию. Содержательная специфика художественной мысли предполагает ответную полноту непосредственно эмоционального доверия конкретно-миру поэта. При относительной несводимости «художественного» и «логического» лишь эта ступень «простого» чтения есть то первое условие повторения произведения для дальнейшего познания его, когда из поля зрения исследователя не уходит предмет его изучения. Белинский поставил и вопрос о законах исторического возобновления произведений Пушкина — «вечно развивающегося явления» для новых поколений читателей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Глава I. Поэт действительности . . .	7
Глава II. На рубеже двух эпох . . .	23
Глава III. Вечно развивающееся явление	39

Гера Владимировна Макаровская

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК». ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

Под редакцией проф. Е. И. Покусаева

*Редактор М. П. Ларина
Обложка художника Г. И. Макарова
Технический редактор Л. В. Агильцова
Корректор Л. Н. Семенова*

НГ78900. Сдано в набор 16.XI.1977 г. Подписано к печати 10.V.1978 г.
Формат 60×84¹/₁₆. Бум. тип. № 2. Усл.-печ. л. 5,58(6). Уч.-изд. л. 5,4.
Тираж 2000 экз. Заказ 11777. Цена 75 к.

Издательство Саратовского университета, Университетская, 42
Типография издательства «Коммунист», Волжская, 28

